



rocketbook

Иван Бунин

Митина любовь



Иван Бунин

Митина любовь (сборник)

«ЭКСМО»

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бунин И. А.

Митина любовь (сборник) / И. А. Бунин — «Эксмо»,

ISBN 978-5-17-103721-5

Человеческая душа во всем ее многообразии – самая значимая тема для Бунина. Неважно, идет ли в его произведениях речь о муках творчества или о скуке повседневности, о настоящей любви, пронзительной и непреодолимой, или о страсти, оглушительной, будто солнечный удар, неважно, являются ли его героями мужчины или женщины, – каждая из повестей и рассказов Бунина остается ярким, замечательным портретом души в некий миг ее существования.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-103721-5

© Бунин И. А.
© Эксмо

Содержание

Роза Иерихона	6
Брань	7
Исход	9
I	9
II	11
III	13
Зимний сон	14
Готами	16
Метеор	18
Третий класс	21
Темир-Аксак-Хан	23
Ночь отречения	25
Безумный художник	27
О дураке Емеле, какой вышел всех умнее	33
Конец	38
I	38
II	40
III	42
IV	44
Косцы	45
Полуночная зарница	48
Преображение	50
Далекое	52
Неизвестный друг	56
В некотором царстве	61
Огонь пожирающий	63
Несрочная весна	67
Город Царя Царей	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Иван Алексеевич Бунин

Митина любовь (сборник)

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Роза Иерихона

В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что назвали розой, да еще Розой Иерихона, этот клубок сухих, колючих стеблей, подобный нашему перекасти-полю, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгорьях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений.

Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!

Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа. В великом покое вековой тишины и забвения лежали перед нами ее Палестины – доли Галилеи, холмы иудейские, соль и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели всё те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого – и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный знак. Отдались, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце – и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.

1924

Брань

ЛАВРЕНТИЙ. Я судержал и мог судержать старое потомство. Я этой земли шесть наделов держал, когда господа костылями били, а теперь тебе отдай?

СУХОНОГИЙ. Да ты ее у меня отнял! Меня оголодил! Я ее, землю-то, кровью облил!

ЛАВРЕНТИЙ. Ты мне ее продал.

СУХОНОГИЙ. Ты ее отнял! Купил!

ЛАВРЕНТИЙ. Ты продал, а я купил. А теперь ты, значит, хозяин стал? Я за нее деньги отдал. Как же мне землей не интересоваться? Я через нее серый стал, брат ослеп, а отец в гроб пошел. Вот как его наживают, капитал-то.

СУХОНОГИЙ. Да-а, так! Ты у меня две десятины держал, одну за деньги, а другую за процент один.

ЛАВРЕНТИЙ. Да что я ее у тебя – силком брал? Ты сам сдавал. Нужда сдавала. Нужда просила.

СУХОНОГИЙ. Конечно, нужда! А ты ее забыл! Ты греб!

ЛАВРЕНТИЙ. Греб! Ты поди погляди, сколько у меня ваших векселей лежит не плоченых. Вы, мужики, хамы.

СУХОНОГИЙ. А ты-то кто ж? Не мужик, что ли? Не такой же хам?

ЛАВРЕНТИЙ. Я хозяин. Я слово свое судержу. Это ваш брат, нищebroды, хамы. Пускай теперь на осинке передо мной удавится, трынки не дам. Зачем ему, сукину сыну, надо было дробач с гумна тащить?

СУХОНОГИЙ. А ты сам зачем тащил?

ЛАВРЕНТИЙ. Я не тащил, а за деньги брал. Я за свое добро требовал, а не воровать по гумнам ходил.

СУХОНОГИЙ. Все равно тащил! Первую заповедь забыл!

ЛАВРЕНТИЙ. Ах, боже милосливый!

СУХОНОГИЙ. Да, всем тащил, обозы гонял, под процент давал, за всем попинался!

ЛАВРЕНТИЙ. Я ночи не спал, свое хозяйство наживал.

СУХОНОГИЙ. Молчи! «Ночи не спал! Хозяйство наживал!» А зачем не спал? Зачем наживал? Дьяволу угожал? Что, перед смертью в лепешку закатаешь да сожрешь, деньги-то эти? Мне вот восемьдесят лет...

ЛАВРЕНТИЙ. Ты меня переживешь. Ты костяной. Тебя ни одна болезнь не берет.

СУХОНОГИЙ. Мне Господь мою кость за бедность дал, а у меня сына последнего забрали ваше народное правительство, глаза их закатись!

ЛАВРЕНТИЙ. Действительно, это новое правительство глупо сделало, что у тебя сына последнего взяли у старика убогого.

СУХОНОГИЙ. А таких-то убогих много!

ЛАВРЕНТИЙ. Немного, не говори. По порядку стараются брать. А только, конечно, глупцы. Не ихнее это дело в правители, в начальники лезть. Какие же они правители, когда трем свиньям дерьма не умеют разделить?

СУХОНОГИЙ. А! Вот то-то и есть! Они его в солдаты взяли, а по его развитию, по его почтенности ему какое место занимать? Он у любого барина в сельской конторе может писарем быть! Им бы и всем-то, солдатам, надо ружья покидать да домой!

ЛАВРЕНТИЙ. Ружья нельзя кидать, беспорядок будет.

СУХОНОГИЙ. А за кого им теперь воевать? Наша держава все равно пропала!

ЛАВРЕНТИЙ. Это верно, пропала. Без пастуха и стадо пропадает. А она, свинья-то, умней человека.

СУХОНОГИЙ. А! Вот то-то и есть! Кому они присягали, эти солдаты-то твои? Прежде великому Богу присягали да великому государю, а теперь кому? Ваньке?

ЛАВРЕНТИЙ. На Ваньку надежда плохая. У него в голове мухи кипят.

СУХОНОГИЙ. Мы присягали на верность службы, а дворяне на верность поддданства, а теперь где они? С Ванькой сидят, хвостом ему виляют! Ну, разорился, ну, именье свое прожил, а все-таки честь свою держи, алебарду не опускай! Тебя господа костылями не могли бить, ты по своим летам в крепости не жил, а я жил, знаю. Тебя, такого-то, будь ты хоть бурмистром, нельзя было не бить, ты слов не слушал, ты господина всегда норовил обокрасть, а меня господа пальцем не трогали! Ты крот подземный, у тебя когти скребучие!

ЛАВРЕНТИЙ. Они и так все давно разбежались, солдаты-то эти твои. Все по деревням сидят, грабежу ждут.

СУХОНОГИЙ. Сидят! Конечно, сидят! Раньше держава была, а теперь что? Кому служить? А прежде каждый должен был в назначенный срок явиться, а не явился – умеи выправиться, рапорт подай! Теперь все равно все прахом пойдет, все придется сначала начинать, по камушку строить!

ЛАВРЕНТИЙ. Ах, боже милосливый! А строить-то кто будет?

СУХОНОГИЙ. Кто ж по-твоему? Ты? ан брешешь! Господь, а не ты! Господь!

ЛАВРЕНТИЙ. Тебе такому-то Господь не даст. У тебя все равно дуром пойдет. Тебе хоть золотой дворец дай, ты все равно его лопухами зарббостишь. Тебе бы только на жалейках играть да дельного человека злословить. Ну, я крот скребучий, а ты кто? Вашего брата хорошие угодники божии за вашу беспечность за вшивые вихры драли.

СУХОНОГИЙ. Не все драли, брешешь! Угодники разные есть! Они сами богатства гнушались!

ЛАВРЕНТИЙ. Они для себя гнушались, а нам велели свое потомство кормить. Державу питать.

СУХОНОГИЙ. А я под твою Ванькину державу все равно ни за какие золотые дворцы не пойду!

ЛАВРЕНТИЙ. Я не Ванька, я хозяин.

СУХОНОГИЙ. Ну, и лопни твое чрево с твоим хозяйством!

Лето 1917

Исход

I

Князь умер перед вечером двадцать девятого августа. Умер, как жил, – молчаливый, ото всех отчужденный.

Солнце, золотясь перед закатом, не раз заходило в легкие смуглые тучки, островами раскинутые над дальними полями на западе. Вечер был простой, спокойный. На широком дворе усадьбы было пусто, в доме, как будто еще более обветшавшем за лето, очень тихо.

Нищие, бродившие по деревне, раньше всех узнали о смерти князя. Они появились возле разрушенных каменных столбов при въезде в усадьбу и нестройно, разными голосами, запели древний духовный стих «на исход души из тела». Их было трое: рябой парень в лазоревой рубахе с укороченными рукавами, старик, очень прямой и высокий, и загорелая девочка, лет пятнадцати, но уже мать. Она стояла с сонным ребенком на руках, державшим во рту сосок ее маленькой груди, и пела звонко и бесстрастно. Мужики были оба слепы, с бельмами; у нее глаза были чистые, темные.

В доме хлопали двери. Наташа выскочила на парадное крыльцо и вихрем понеслась через двор к людской; из растворенного дома слышно было, как стенные часы медлительно пробили шесть. А через минуту по двору уже бежал и на бегу попадал в рукав армяка работник – седлать лошадь, скакать на деревню за старухами. Гостившая в усадьбе странница Аня, похожая своей стриженной головой на мальчика, высунулась в окошечко людской и, захлопав в ладоши, что-то закричала ему вслед – тупо, косноязычно и восторженно.

Когда молодой Бестужев вошел к умершему, тот лежал навзничь на старинной кровати орехового дерева, под старым одеялом из красного атласа, с расстегнутым воротом ночной рубашки, полузакрыв неподвижные, как бы хмельные глаза и откинув темное, побледневшее, давно не бритое лицо с большими седеющими усами. Ставни в этой комнате были по его желанию закрыты все лето, – теперь их открывали. На комодке возле кровати желто горела свеча. Склонив к плечу голову, с бьющимся сердцем, Бестужев жадно всматривался в то странное, уже холодевшее, что тонуло в постели.

Ставни раскрывались одна за другой. В окна, сквозь темные ветви старого хвойного палисадника, глянул далекий закат, оранжево догоравший в тучках. Бестужев, отойдя от умершего, распахнул одно из этих окон. В комнату, в застоявшийся, сложный запах лекарств, ощутительно потянуло чистым воздухом. Вошла заплаканная Наташа и стала выносить все то, что князь, с неделю тому назад, внезапно охваченный какой-то тревожной жадностью, приказал перетаскать к нему и разложить перед его глазами на столах и креслах: истертое казацкое седло, уздечки, медный охотничий рог, собачьи смычки, патронташ. Уже не стесняясь стучать, звенеть удилами и стремя о стремя, она делала дело с твердым и строгим лицом, сильно дунула, проходя мимо комода, на свечку... Князь был неподвижен, и неподвижны были его полуприкрытые, как бы слегка косившие глаза. Вечернее сухое тепло, смешанное с свежестью от реки, наполняло комнату. Солнце потухло, все поблекло. Хвоя палисадника сухо темнела на прозрачном, сверху зеленоватом, ниже шафранном море далекого запада. Щебетала за окном какая-то птичка, и щебет ее казался очень резок.

– Чего жалеть, – серьезно сказала Наташа, опять входя и отодвигая ящик комода, вынимая оттуда чистое белье, простыни и наволочку на подушку. – Умерли смирно, всем так дай Бог. А жалеть их некому, никого после себя не оставили, – прибавила она и опять вышла.

Бестужев, присев на подоконник, все глядел в темный угол, на постель, где лежал умерший. Он все старался что-то понять, собрать мысли, ужаснуться. Но ужаса не было. Была

только удивленность, невозможность осмыслить, охватить происшедшее... Неужели все разрешилось, и теперь можно говорить в этой спальне так свободно, как говорит Наташа? Впрочем, подумал Бестужев, она говорила о князе с той же свободой, – как о человеке, уже вышедшем из круга живых, – и раньше, весь последний месяц.

Со двора, из сумрака слабо и необыкновенно приятно пахло дымом. Это успокаивало, говорило о земле, о продолжающейся простой человеческой жизни. В стемневших лугах, на реке, ровно шумела водяная мельница... Неделю тому назад князь сидел возле ее ворот на старом жернове, – в шапке, в лисьей поддевке, худой и темноликий, согнувшись и упершись руками в серый ноздреватый камень. Старик, который привез смолоть несколько мер новины, щурясь, исподлобья посмотрел на него, развертывая веретъе. «А уж и худ ты! – холодно и пренебрежительно сказал он князю, хотя прежде всегда говорил с ним почтительно. – Прямо никуда! Нет, теперь тебе житья немного. Тебе лет семьдесят будет?» – «Пятьдесят первый», – сказал князь. «Пятьдесят первый! – насмешливо повторил старик, возясь с веретнем. – Не может того быть, – твердо сказал он, – ты намного старше меня». – «Вот дурак, – усмехнувшись, сказал князь, – да ведь мы росли вместе». – «Ну, росли не росли, а житья тебе теперь немного», – сказал старик, натуживаясь, и, приподняв и прижимая к груди тяжелую, полную рожью меру, поспешно, приседая, пошел в шумящую, белую от муки мельницу...

– Теперь уходите, барчук, – бесстрастно, но значительно сказала Наташа, входя с ведром горячей воды.

И от этого ведра, от этих слов Бестужеву вдруг стало страшно. Он поднялся с подоконника и, не глядя на Наташу, вышел через прихожую, прилегавшую к комнате покойного, на черное крыльцо. В сумраке возле крыльца мыли руки приехавшие с деревни старухи, Евгения и Агафья: одна лила из кувшина, другая, согнувшись, захватив в колени подол темного платья, крепко отжимала, встряхивая пальцы. Это было еще страшнее, – эти старухи. Бестужев быстрыми шагами прошел мимо них в сухой, уже поредевший к осени сад, таинственно освещенный по низам только что показавшимся среди дальних стволов круглым, огромным, зеркальным месяцем.

II

В девятом часу в комнате, где умер князь, все пришло в порядок, было прибрано, кровати уже не было, тепло пахло вымытыми полами. На столах, поставленных наискось в передний угол, под старинные образа, возле окна, верхнее стекло которого серебрилось от месячного света, возвышалось под простыней тело, казавшееся очень большим. Три толстых свечи в церковных высоких подсвечниках горели в головах его прозрачно, дрожали хрустальным чадом. Тишка, сын церковного сторожа Семена, умытый, причесанный, в новой поддевке, жалостно и поспешно читал Псалтырь. «Хвалите Господа с Небес, – читал он, подражая черничкам, – хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его...» Темно и чадно дрожали на свечах прозрачные копыя пламени, золотые, с ярко-синим основанием.

В доме огонь был только в лакейской. Там, под окном, стоял стол, на столе кипел самовар. Бледная и серьезная, в черном платочке, Наташа, Евгения, похожая на смерть, и печально-скромная Агафья, плотник Григорий, уже начавший в сарае делать гроб, и церковный сторож Семен, старик с тусклыми свинцовыми глазами, испорченными постоянным чтением при дрожащем свете по покойникам, пили чай. Семен, который должен был сменить сына, принес с собой собственную книгу, в грубой, как бы деревянной коже бурого цвета, закапанную воском, с обожженными кое-где углами страниц.

– А как ни плохо живешь, все будет трудно с белым светом расставаться, – печально говорила Агафья, наливая из чашки в блюдечко.

– Известно, трудно, – сказал Григорий. – Кабы знал, и жил бы не так, все бы имущество истребил. А то боимся именье свое распустить, все думаешь, под старость деться будет некуда... а глядишь, и до старости не дожил!

– Наша жизнь как волна бежит, – сказал Семен. – Смерть, ее, сказано, надо встречать с радостью и трепетом.

– Исход, а не смерть, родной, – сухо и наставительно поправила Евгения.

– С трепетом не с трепетом, а умирать никому не хочется, – сказал Григорий. – Всякая козявка и та смерть боится. Тоже, значит, и у них души есть.

– Не души, батюшка, а дуси, – еще наставительнее сказала Евгения.

Кончив последнюю чашку, Семен мотнул головой, откидывая со лба вспотевшие темно-серые волосы, встал, перекрестился, захватил Псалтырь и на цыпочках пошел через темный зал, через темную гостиную к покойнику.

– Ступай, ступай, дорогой, – сказала ему вслед Евгения. – Да поприлежней читай. Когда кто хорошо читает, грехи с грешника как листья с сухого дерева валяются.

Сменяя Тишку, Семен надел очки и, строго глядя через них, мягко обобрал пальцами воск с оплывших свечей, потом медленно перекрестился, развернул на аналое книгу и стал читать негромко, с ласковой и грустной убедительностью, только в некоторых местах предостерегающе повышая голос.

Дверь в прихожую возле черного крыльца была открыта. Читая, Семен слышал, как на крыльце кто-то затопал ногами: пришли поглядеть на покойника две девки, обе наряженные, в новых крепких башмаках. Они вступили в комнату робко и радостно, шепотом переговариваясь. Крестьясь и стараясь ступать нетвердо, одна из них, вздрагивая грудями под новой розовой кофточкой, подошла к столу, отвернула простыню с лица князя. Блеск свечей упал на кофточку, испуганное лицо девки стало в этом блеске бледно и красиво, а мертвое лицо князя засияло, как костяное. Большие седеющие усы, разросшиеся за болезнь, уже сквозили, в глазах, не совсем закрытых, темнела какая-то жидкость...

Тишка жадно курил в сенях, поджидая выхода девок. Они проскользнули мимо него, делая вид, что не замечают его. Одна сбежала с крыльца, другую, в розовой кофточке, он успел поймать. Она рванулась, зашептала:

– Ай ты угорел? Пусти! А то отцу скажу...

Тишка выпустил ее. Она побежала к саду. Месяц, уже небольшой, белый, ясный, высоко стоял над темным садом, и золотисто блестело в его свете сухое железо на крыше бани. В тени от сада девка обернулась и, взглянув на небо, воскликнула:

– Ночь-то какая, батюшки!

И очаровательно, с радостной нежностью, прозвучал в ночном тихом воздухе ее счастливый голос.

III

Бестужев ходил из конца в конец по двору. Со двора, пустого, широкого, освещенного месяцем, он глядел то на огоньки в деревне за рекой, то на светлые окна людской, где слышались голоса ужинающих. В сарае были раскрыты ворота, горел разбитый фонарь, поставленный на козлы тарантаса. Григорий, наклонившись и отставив одну ногу, шмыгал фуганком по тесине, заправленной в старый верстак. Красно-дымный огонь в фонаре дрожал, дрожали тени в сумрачном сарае... Когда Бестужев на минуту приостановился у ворот сарая, Григорий поднял возбужденное лицо и сказал с ласковой гордостью:

– Крышку уж доделываю...

Потом Бестужев постоял, облокотясь на раскрытое окно людской. Кухарка собирала со стола остатки ужина, стирала с него ветошкой. Пастухи, подростки, укладывались спать: Митька, разутый, молился, стоя на нарах, устланных свежей соломой, Ванька – среди избы. Рыжий лохматый печник, широкоплечий и очень маленький ростом, в черной рубахе с крапинками извести на ней, пришедший с деревни из-за реки, чтобы начать завтра поправлять стены внутри обвалившегося княжеского sklepa, вертел, сидя на лавке, сигарку.

Анюта тупо, восторженно и косноязычно говорила с печки:

– Вот и помер, ваше сиятельство, в голова́ ничего не положил... Так и не дал мне ничего... Нету да нету, погоди да погоди... Вот теперь и годи... Вот и годи... Годи теперь! Погодил, милый? В голова́ себе много положил? Понял теперь, что у тебя в головах, глупый? А что бы так-то дать рублика два, прикрыть мое тело! Я убогая, уroda. Никого у меня нету. Ишь грудь-то!

И она распахнула кофту и показала голую грудь:

– Голая вся. Так-то, глупый! А я тебя в старые годы любила, я об тебе скучала, ты красивый был, веселый, ласковый, чистая барышня! Ты всю свою молодость об своей Людмилочке убивался, а она тебя, глупый, только терзала-мучила да с другим под венец стала, а я одна тебя верно любила, да про то только моя думка знала! Я убогая, уroda, а душа-то у меня, может, ангельская-архангельская, я одна тебя любила, одна сию радуюсь о твоей кончине смертной...

И она радостно и дико засмеялась и заплакала.

– Пойдем, Анюта, Псалтырь читать, – громко сказал печник тем тоном, каким говорят с детьми кому-нибудь на потеху. – Пойдешь, не боишься?

– Дурак! Кабы ноги были целы, и пошла бы, ай плохо? – крикнула Анюта сквозь слезы. – Их грех, покойников-то, бояться. Они святые, пречистые.

– Я и не боюсь, – развязно сказал печник, закуривая сигарку, загоревшуюся зеленым огнем. – Я с тобой хоть на целную ночь в фамильный склеп ляжу...

Анюта восторженно рыдала, утираясь кофтой.

Не нарушая светлого и прекрасного царства ночи, а только делая его еще более прекрасным, пали на двор легкие тени от шедших на месяц белых тучек, и месяц, сияя, катился на них в глубине чистого неба, над блестящей крышей темного старого дома, где светилося только одно крайнее окно – у изголовья почившего князя.

Зимний сон

Днем, гуляя, Ивлев прошел по выгону мимо школы.
На крыльце стояла учительница и пристально смотрела на него.
На ней была синяя на белом барашке поддевка, подпоясанная красным кушаком, и белая папаха.

Потом он лежал у себя в кабинете на тахте.
На дворе, при ярком солнце и высоких сияющих облаках, играла поземка.
В окнах зала солнце горячо грело блестящие стекла.
Холодно и скучно синело только в кабинете – окна его выходили на север.
Зато за окнами был сад, освещенный солнцем в упор.

И он лежал, облокотившись на истертую сафьянную подушку, и смотрел на дымящиеся сугробы и на редкие перепутанные сучья, красновато черневшие против солнца на чистом небе сильного василькового цвета.

По сугробам и зеленым елкам, торчавшим из сугробов, густо несло золотистой пылью.
И он, глядя, напряженно думал:

– Где же, однако, с учительницей встретиться? Разве поехать к Вуколовой избе.

И тотчас же в саду, в снежной пыли показался большой человек, шедший по аллее, утопая в снегу по пояс: седая борода развеивается по ветру, на голове, на длинных прямых волосах, истертая шапка, на ногах валенки, на теле одна ветхая розовая рубаха.

– Ах, – подумал Ивлев с радостью, – непременно случилось что-нибудь ужасное!

Это был Вукол, разорившийся богач, живший в одинокой полевой избе с пьяницей-сыном.

И Вукол стоял в прихожей, плакал и жаловался, что сын бьет его, с размаху кланялся горничным и просил чайку – хоть щепоточку.

– Затем и лез по сугробам, по морозу, – говорил он. – Что поделаешь, привык, а сын не дает, грозит убить...

И видно было, что его самого трогает – и гораздо более, чем побои и грубость сына, – то, что он когда-то каждый день пил чай и привык к нему.

Он был страшен и жалок, по-медвежьи держал палку в посиневших руках.

– Дайте ему, – сказал Ивлев, – и чаю, и сахару, и белого хлеба!

Воротясь в поле, в свою ледяную избу, Вукол, пользуясь отсутствием сына, вытащил из-под лавки позеленевший самовар, набил его ледяшками, намерзшими в кадке, наколол щепок, жарко запалил их, окунув сначала в конопляное масло. И скоро, под дырявой, проржавевшей трубой, самовар буйно загудел, запылал, и старик, все подогревая его, уселся пить.

Как вдруг вошел сын.

Изба была вся голубая от дыму.

Старик кончал двадцатую чашку.

И сын так крепко стукнул его костылем в темя, что он мгновенно отдал Богу душу.

Тогда Ивлев велел запрячь в бегунки молодую, горячую лошадь.

Был розовый морозный вечер, и он оделся особенно тепло и ладно, вышел, сел, и санки понесли его по выгону к школе.

На крыльцо тотчас вышла весь день поджидавшая его учительница.

– Мы непременно должны посмотреть Вукола! – крикнула она.

На ней была синяя на белом барашке поддевка, подпоясанная красным кушаком, и белая папаха. Глаза сияли веселой хитростью, лицо от папахи казалось еще милее и нежнее.

Она смеялась, нагибая голову к муфте, закрываясь от острого ветра.

Лошадь летела как на крыльях.

Сзади, за степью, садилось солнце.

Снежное поле, расстилавшееся впереди, зеленело.

И встречный ветер, как огнем, жег щеки, брови.

Ивлев оглянулся – не едет ли кто сзади. Поле было пусто и уже темнело в малиновом свете заката. И он обнял учительницу, ища губами ее щеку. Она засмеялась пуще и схватила вожжи.

– Нет, – крикнула она, – мы должны сперва заехать.

И через минуту они очутились возле темной избы, черневшей среди снегов.

Согнувшись, вошли в темные сени, нашарили в темноте скобку.

Изба, распахнувшаяся перед ними, была велика и стара, все в ней было черно, дико, грубо.

Провисший потолок, блестящий от дыма, копоти, поддерживала громадная покосившаяся печь.

Восковая свечка, прилепленная к столу, едва озаряла эту мрачную и страшную берлогу.

А за столом, на лавке, стоял широкий, мелкий гроб, покрытый коленкором, на коленкоре, под бугром, образованным сложенными на груди руками, лежала черная дощечка.

– Не бойся! – с бесовской радостью шепнула учительница, крепко схватив Ивлева за руку и вся прижавшись к нему. – Едем, едем!

И полозья санок, как коньки, засвистали под изволок по мерзлому снегу. Еще тлела далеко впереди сумрачно-алая заря, а сзади уже освещал поле только что поднявшийся светлый стеклянный месяц.

Теперь они неслись в Гренландию.

<1918>

Готами

Повесть, трижды прекрасная своей краткостью и скромностью, повесть о Готами, которая, сама того не ведая, пришла под сень Благословенного.

Так слышали мы:

В людном селении, в счастливой местности, у подножия великих Гималаев, в семье бедной, но достойной родилась Готами.

Высока ростом и на вид худощава была она, а душой проста, нетребовательна, и соседи дали ей недоброе прозвище: «Готами Тошчая» прозвали они ее, но она не обиделась. И всякому приказанию была она послушна и на всякое приказание отзывалась так:

– Хорошо, милый господин, я сделаю. Хорошо, милая госпожа, я сделаю.

Да простится нам слово: неумна была среди людей Готами. Но и глупого не говорила она, – может быть, потому, что никогда не говорила она много и с утра до вечера что-нибудь работала. И одежда на ней была бедная и все одна и та же, но всегда опрятная. И вот юноша, весьма богатый и красивый, сын великого царя той местности, увидел ее на берегу реки, когда мыла она белье своих сестер и братьев, и понял, что она не умна и покорна и что никто не заступится за нее, – даже родители.

Так думал он:

– Что ж делать, скажут ее родители, неумна Готами, нехороша Готами, не на дочь нашу, а на служанку похожа она, – кто возьмет ее замуж? Рано или поздно все равно покорится она мужчине, который пожелает ее: не умеет отказывать Готами. Ах, если бы был тот мужчина не безжалостный и давал на воспитание ребенка, что родит она!

Так подумал царский сын, юноша.

А Готами, вымыв и выполоскав белье, села на корточки над блестящей от солнца водой, сняв с себя одежду, весь свой стан от подмышек до колен завернув ею, распустила свои длинные черные волосы, стала чистить размоченной щепочкой свои белые зубы, стала мыть свои смуглые ноги, не зная, что царский сын смотрит на нее из-за бамбуковых кустов. И тогда он окликнул ее и, подходя, сказал ей с усмешкой, но ласково:

– Ты мила, Готами, и совсем не такая тошчая, как говорят про тебя: о девушке в простой одежде и высокого роста часто судят неправильно. Я слышал, Готами, что ты покорная. Не противься же мне, никто не увидит наших ласк в этот жаркий час над пустой рекой.

И Готами смутилась перед ним, перед его уверенностью в правоте его желания, и прошептала в ответ:

– Хорошо, милый господин, будет по-твоему.

И царский сын, наслаждаясь ею, увидел, что она лучше, чем казалась, и что темные глаза ее, хотя и не выражают мысли и как будто всегда одинаковы, полны очарования. И после того стали часты их встречи на берегу реки в роще бамбуков, и всегда было так, что, когда бы ни приказал царский сын прийти к нему, всегда приходила Готами без ослушания и не менялась в своей покорности и прелести при телесном сближении, а при краткой беседе – в приветливости. И по истечении положенного времени почувствовала себя беременной. И тогда царский сын взял ее к себе в наложницы, перевез ее с ее бедной укладкой, где хранилось ее скромное добро, жалкий достаток рабочей девушки, в свой богатый дворец, и она прожила во дворце всю пору своего бремени.

Когда же приблизился день, одна из царских домоправительниц сказала ей:

– Готами. Жена, готовая стать матерью, уходит рожать, во исполнение обычая, в свой отчий дом. Но ты не жена, а наложница. Не ходи же в дом родителей, но и не нарушай пристойности.

И Готами поклонилась ей, встала и вышла за калитку глиняной ограды дворца.

И, перейдя деревянный мост через мутный канал, бывший поблизости, увидала сидящего под деревом, с чашкой в руке, слепого и древнего нищего, только по поясу препоясанного грязной тряпицею, руки же свои, ноги, грудь и сухую, блестящую спину подставившего зною и мухам.

И нищий поднял свое незрячее лицо, прислушиваясь к ее шагам, и улыбнулся нежной и горькой улыбкой старческой мудрости.

– Готами! – сказал он ей. – Не вижу тебя, но чувствую твое приближение. Готами, будь благословенна стезя твоя!

И она поцеловала колено нищего и продолжала свой путь и на пути, в жарких солнечных рощах, среди атласовых деревьев, родила свое дитя.

И блаженно, со слезами радости, отдохнув от своего мучения, возвратилась с ребенком на руках во дворец царевича и предалась чувству непрестанного восторга и умиления, чувству телесной любви к рожденному, сладкой тревоге видеть, обонять, осязать и прижимать к своей груди это растущее и с каждым днем все более пробуждающееся для мысли и сознания существо.

– «Вспомнила тебя душа моя!» – этих нежных слов не сказал Готами юноша, сближаясь с ней, хотя и была она мила ему, хотя и везли ее в царский дворец с музыкой, на быках, украшенных цветами и лентами, нарядив ее точно к венцу, гладко причесав ее черные волосы, нарумянив лицо и подсурьмив ресницы.

И Готами, родив дитя, покорно приняла охлаждение к ней юноши и устранилась от глаз его, дабы не испытывал он смущения и виновности, случайно встречая ее.

И, оставшись жить в ограде дворца, поселилась в простой хижине на берегу прудов, приняв на себя обязанность кормить лебедей, плававших в тех прудах среди трав и цветов.

И была до времени счастлива, приуговляясь, сама того не ведая, к тем великим скорбям, что должны были прийти на законную смену этому счастью и направить ее на путь едино истинный, в среду Братии Желтого облачения.

Блаженны смиренные сердцем, расторгшие Цепь.

В обители высокой радости живем мы, ничего в этом мире не любящие и подобные птице, которая несет с собой только крылья.

Одесса. 1919

Метеор

Рождество, много снегу, ясные морозные дни, извозчики ездят резво, вызываяще, с двух часов на катке в городском саду играет военная музыка.

Верстах в трех от города старая сосновая роща.

Смеясь, переговариваясь, идут к ней по снежному полю, суют ногами в длинных шведских лыжах, держа в правой руке длинные, тонкие палки с колесиками на конце, лицеист, гимназистка, высокий и полный богатый молодой человек, кадет и курсистка в пенсне, очень близирующая, неловкая и очень обидчивая. Она одна молчит, идет старательнее и хуже всех. Все одеты так, как ходят на каток. Одна она в настоящем лыжном костюме, в белой шерстяной вязанке и такой же шапочке.

Роща близится, становится живописнее, величественнее, чернее и зеленее. Над нею уже стоит прозрачно-бледная круглая луна. Справа чистое солнце почти касается вдаль золотисто-блестящей снежной равнины с чуть заметным зеленоватым тоном.

Курсистка впереди всех, – порой спотыкаясь и роняя пенсне, она первая входит в рощу, в длинную снежную просеку среди мачтовых сосен. Белая длинная вязанка обтягивает ее большой зад и груди. Живой, смуглый, широконосыый кадет, не отставая от нее ни на шаг, все подсмеивается над ней, все острит. Она каждый раз зло и находчиво отвечает ему, старательно делая свое дело. Однако между ними что-то есть.

В роще вечерет, морозит, высокое небо над просекой холодеет и синее; далеко впереди, за поляной, верхушки нескольких сосен, особенно высоких, краснеют. В роще еще слаще чувствовать себя молодым, праздничным, все время близким к какому-то счастью дышать этим зимним эфирным воздухом. Лицеист ждет счастья напряженнее всех, двигаясь все время рядом с гимназисткой.

Спокойнее прочих богатый молодой человек с его необыкновенно нежным цветом лица и пятнистым румянцем.

На поляне останавливаются, отдыхая и говоря все разом, мужчины курят, испытывая от табаку особенное наслаждение. У всех блестящие глаза, легкий иней на ресницах.

– Теперь куда?

– Конечно, вниз, на реку!

– А вон, господа, еще лыжники!

– Кто это? Неужели Ильины? Вот приятная встреча!

Пролеты высоких аллей расходятся от поляны во все стороны. В той, что ведет прямо к реке, приближаются мужчина и женщина. Слышен звонкий женский смех, кажущийся притворным.

– Кто это? – спрашивает гимназистка лицеиста. – Вы лучше меня видите.

– Ваши партнеры по любительскому спектаклю. Залесская с Потемкиным.

– Ах, я не хочу встречаться с ними. Я ее терпеть не могу. Уйдем куда-нибудь. Встретимся с нашими на лугу.

– Слушаю-с. Господа, мы вам пока откланиваемся. До скорого свидания на реке.

– Это почему? – спрашивает кадет, нелепо выкатывая глаза. – Что сей внезапный сон значит?

– Нам пора отношения выяснить, – отвечает гимназистка, смеясь. – *Au revoir*¹, господа. Можете нам завидовать.

И, взявшись за руки, лицеист и гимназистка едут в просеку направо. Их провожают напутственными криками, шутками.

¹ До свидания (*фр.*).

У лицеиста крепко бьется сердце. Он чувствует, что она под видом шутки, с той спокойной и удивительной смелостью, на которую способны только женщины, сказала правду. Он знает, что за эти праздничные дни все сказано без слов между ним и ею, что они ждут только момента и решительности осуществить это сказанное без слов. И вот этот момент внезапно настал. Однако она идет и молчит, и его волнение увеличивается сомнением, не ошибается ли он.

Она молчит, она спокойно и как ни в чем не бывало двигает лыжами. От волнения молчит и он или же говорит что-нибудь явно ненужное.

– Хотите идти слева? Тут глубже снег...

– Нет, спасибо, мне очень хорошо...

И они опять молча суют лыжи, слегка наклоняясь вперед. Снег вокруг, среди сосновых розоватых стволов, становится все глубже, белее, сосны все оснеженнее. Вечер мягко меняет краски, все больше сливаясь с воцаряющейся лунной ночью.

– Ох, я, кажется, устала! – говорит она наконец, поворачивая к нему раскрасневшееся лицо и слегка улыбаясь. – Куда мы идем? Мы заблудимся...

У него еще больше замирает сердце, но он отвечает, стараясь говорить как можно обыкновеннее:

– Еще немного. Скоро опять поляна и скамейка, – разве вы не помните? Вы потише, поровнее. Вот так: раз, раз... раз, раз...

На поляне, возле скамейки, утонувшей в снегу, он отпускает ее руку и, только отпустив, чувствует, какое это было наслаждение держать ее, как будто сосредоточившую в себе всю прелесть всего ее женского существа.

Он утаптывает снег возле скамейки, срезает лыжей снежную подушку с нее, смахивает платком сухие остатки снега. Она садится и на минуту блаженно закрывает глаза.

– Как хорошо. Какая тишина. Какие это птицы?

По кустам можжевельника перелетают толстые, зобастые, с красными грудками снегири.

– Это снегири.

– Как они красивы!

– Хотите, убью одного?

И он вынимает из кармана маленький револьвер.

– Нет, не надо, – говорит она с нерешительной улыбкой.

Толстый снегирь перелетает ближе.

– Видите, он сам идет навстречу смерти. Так я стреляю.

– Нет, нет, не надо.

– Вы боитесь?

– Нет, но не хочу...

Она слабо махает рукой на снегиря, но снегирь перелетает еще ближе. И тотчас же, как хлопнувший кнут, раздается выстрел, от которого она быстро закрывает глаза и затыкает уши.

Снегиря на кусте уже нет. Промах, конечно? Подняв глаза кверху, они видят, что луна среди верхушек сосен уже в сиянии и возле нее вьется серебристый ястребок, которого откуда-то спугнул выстрел. Потом смотрят в кусты. Снегирь взъерошенным комочком лежит на снегу.

– Это совершенно неправдоподобно! – восклицает лицеист, кидаясь к нему. – Из револьвера и вдруг попасть!

И еще напряженнее чувствует, что время идет, а они оба говорят и делают совсем не то, что надо.

– И вам не жаль? – спрашивает она, разглядывая еще теплого снегиря.

– Увы, ничуть! – шутливо выговаривает он с трудом, стукнув от внутренней дрожи зубами при взгляде на ее губы, мех вокруг шеи, маленькие ботинки в снегу. – Вы запачкали кровью руку...

Она кладет снегиря на скамейку и поднимает на него глаза, которые кажутся вопросительными и ждущими.

– Дайте вытру снегом...

Она протягивает руку. Он вытирает, замирая от нестерпимого желания целовать, кусать ее.

Вечера уже почти нет. Луна между соснами уже зеркальная. В легкой тени от верхушек сосен снег принял цвет золы, а на местах освещенных искрится.

– Однако что же это мы? – говорит она, вдруг поднимаясь. – Мы рискуем не найти их. Идемте скорее!

И опять они берутся за руки и поспешно двигают лыжами. Проходит пять, десять минут...

– Постойте! Мы, кажется, совсем не туда идем! Где мы? Опять какая-то поляна...

– Нет, верно, – говорит лицеист. – Видите – поляна покатая, это уже спуск к реке. Мы незаметно все время забирали влево.

Но она стоит, растерянно оглядываясь. Поляна глухая, в глубоком снегу. Над головою уже совсем по-ночному блещет луна, тени меж сосен черны, четки, на краю поляны тонет в сугробах черная изба без окон, снежная, пухлая крыша ее вся играет белыми и синими бриллиантами. Тишина мертвая.

– Вы куда-то завели меня, – говорит она негромко, уже с неподдельным страхом. – Идем назад.

Но он странно смотрит на нее и тянет ее за руку вперед.

– Давайте только заглянем в эту избу... На одну минуту...

Она делает несколько шагов, но возле избы решительно противится, останавливается и отнимает у него руку. Он, бросив лыжи, идет по твердому сугробу к раскрытой двери и, наклонясь, скрывается в ее темноте. Через минуту раздается из избы его голос:

– Как здесь хорошо! Загляните хоть в окно! Неужели вы боитесь?

– Нет, но не хочу. Где вы? Пойдемте, поздно.

– Как красив здесь лунный свет! Это что-то сказочное!

– Если вы не выйдете, я уйду одна...

И, скрипя по морозному снегу, она подходит к окну, заглядывает в него:

– Где вы там?

И вдруг ее ослепляет таким дивным, таким страшным и райски прекрасным зеленым светом от прорезавшего все небо и разорвавшегося метеора, что она вскрикивает и в ужасе бросается в дверь избы.

Через полчаса они снова выходят на залитую луною поляну и уже до самой реки не могут произнести ни слова.

Париж, 27 декабря. 1920

Третий класс

Глупец тот, кто воображает, что он имеет полное право и возможность ездить когда ему угодно в этом классе!

Вот Цейлон, Коломбо, март 1911 года.

Утро, всего восьмой час.

Но зной уже адский, он густ и неподвижен, как перед той страшной грозой, которой, должно быть, начался потоп.

Весь в белом и в белом шлеме, сижу в раскаленной лакированной колясочке, в маленькой двуколке, в тонких оглоблях которой ровно и крупно, слегка подавшись вперед, мчится высокий и черный, весь блистающий своей могучей великолепной наготой тамиль.

Еду на вокзал, чтобы отправиться – ну, скажем, в Анарадхапуру.

И вот впереди уже площадь, пустая, белая, ослепительная, а за нею еще более ослепительное белое здание вокзала, – оно почти страшно своей белизной на белесом от зноя небе. Среди всей этой белизны и белого солнечного пламени черное тело и длинные черные волосы тамила режут глаз.

В здании вокзала легче, всюду веет теплый сквозняк.

Сняв шлем, вытираю мокрый ледяной лоб, кость которого так ощутительна при поте, и спешу к выходу на платформу.

Высокий и тяжелый, с белыми крышами и навесами над окнами, поезд уже готов.

Спешу к будочке кассира, вынимаю на ходу ровно столько монет, сколько требуется на проезд до Анарадхапуры в третьем классе, и стучу ими перед выглядывающим из будки англичанином:

– Third class, Anaradhapura! Третий класс, Анарадхапура!

– First class? Первый класс? – спрашивает англичанин.

– No, third class! – кричу я.

– Yes, first class! – кричит англичанин, выкидывая мне билет первого класса.

И тогда я прихожу в ярость и начинаю кричать приблизительно так:

– Слушайте, мне это осточертело! Я хочу видеть все особенности страны, всю ее жизнь, всех ее обитателей, вплоть до самых «презренных», как вы любите выражаться о цветных людях, которые, конечно, не могут да и не смеют ездить в первых классах. Но всякий раз, как я хочу сесть в третий класс, начинается борьба с кассиром! Я твердо и ясно требую третий класс. Однако, пользуясь созвучием слов, меня всякий раз перебивают, дурачат: «Вы хотите сказать, первый класс?» Я кричу: да нет, третий! Но мне все-таки выкидывают билет первого класса. Я швыряю его назад – и тогда кассир, вне себя от негодования и удивления, что белый человек одержим низким и безумным желанием сидеть рядом с цветным, начинает тоже кричать, пугает меня насекомыми, которых я могу набраться от цветных, главное же, наставляет меня в том, что никто, решительно никто из белых не ездит здесь в третьем классе, что это не принято, неприлично, возмутительно!

И я твердо заключаю:

– Одним словом, извольте сию же минуту дать мне то, что я требую!

В конце концов кассир сдается: пораженный моей яростью, он на мгновение каменеет и вдруг решительно швыряет мне билет третьего класса.

Торжествуя, водворяюсь я в вагоне и жду спутников, этих самых «презренных» цветных.

Но что за черт – их нет и нет!

По платформе, мимо моего купе, несется непрерывный сухой шорох босых бегущих ног.

Но почему же несется он все мимо, все дальше куда-то?

А, понимаю: это их пугает мой шлем, белый шлем белого человека!

И я снимаю шлем, прижимаюсь в угол, снова жду – снова напрасно.

– Теперь-то почему же никого нет? – думаю я. – Ведь теперь они меня не видят?

И я вскакиваю с места, высовываюсь в окно, чтобы понять, в чем дело, – и дело объясняется тотчас же и очень просто: на моем купе крупно написано мелом, что оно – занято! Едва я успел войти в него, как на нем написали: занято! Настоял, мол, на своем, вырвал билет третьего класса, так вот же тебе – сиди, идиот.

И несется, несется поезд в бездне ослепительного зноя, льющегося с неба на эту радостную, райскую землю, и четко отдается татаканье колес от цветущих лесных дебрей, без конца летящих назад, мимо окон.

– Курумба-а! – горестно и звонко кричат на остановках продавцы кокосовых орехов под сухой шорох босых ног, бегущих мимо моего купе.

И на одной из следующих остановок я, как вор, перебегаю в четвертый класс, в вагон, набитый сидящими и стоящими, черными и шоколадными телами, которые только по бедрам повязаны мокрыми от пота тряпицами.

<1921>

Темир-Аксак-Хан

– А-а-а, Темир-Аксак-Хан! – дико вопит переливчатый, страстно и безнадежно тоскливый голос в крымской деревенской кофейне.

Весенняя ночь темна и сыра, черная стена горных обрывов едва различима. Возле кофейни, прилепившейся к скале, стоит на шоссе дорожке, на белой грязи, открытый автомобиль, и от его страшных, ослепительных глаз тянутся вперед, в темноту, два длинных столпа светлого дыма. Издалека, снизу, доносится шум невидимого моря, со всех сторон веет из темноты влажный беспокойный ветер.

В кофейне густо накурено, она тускло озарена жестяной лампочкой, привешенной к потолку, и нагрета грудой раскаленного жара, рдеющего на очаге в углу. Нищий, сразу начавший песню о Темир-Аксак-Хане мучительным криком, сидит на глиняном полу. Это столетняя обезьяна в овчинной куртке и лохматом бараньем курпее, рыжем от дождей, от солнца, от времени. На коленях у него нечто вроде деревянной грубой лиры. Он согнулся, – слушателям не видно его лица, видны только коричневые уши, торчащие из-под курпее. Изредка вырывая из струн резкие звуки, он вопит с нестерпимой, отчаянной скорбью. Возле очага, на табурете, – женственно полный, миловидный татарин, содержатель кофейни. Он сперва улыбался, не то ласково и чуть-чуть грустно, не то снисходительно и насмешливо. Потом так и застыл с поднятыми бровями и с улыбкой, перешедшей в страдальческую и недоуменную.

На лавке под окошечком курил хаджи, высокий, с худыми лопатками, седобородый, в черном халате и белой чалме, чудесно подчеркивающей темную смуглость его лица. Теперь он забыл о чубуке, закинул голову к стене, закрыл глаза. Одна нога, в полосатом шерстяном чулке, согнута в колене, поставлена на лавку, другая, в туфле, висит.

А за столиком возле хаджи сидят те проезжие, которым пришлось на ум остановить автомобиль и выпить в деревенской кофейне по чашечке дрянного кофе; крупный господин в котелке, в непромокаемом английском пальто и красивая молодая дама, бледная от внимания и волнения. Она южанка, она понимает по-татарски, понимает слова песни...

– А-а-а, Темир-Аксак-Хан!

Не было во вселенной славнее хана, чем Темир-Аксак-Хан. Весь подлунный мир трепетал перед ним, и прекраснейшие в мире женщины и девушки готовы были умереть за счастье хоть на мгновение быть рабой его. Но перед кончиною сидел Темир-Аксак-Хан в пыли на камнях базара и целовал лохмотья проходящих калек и нищих, говоря им:

– Выньте мою душу, калеки и нищие, ибо нет в ней больше даже желания желать!

И, когда Господь сжалился наконец над ним и освободил его от суетной славы земной и суетных земных утех, скоро распались все царства его, в запустение пришли города и дворцы, и прах песков замел их развалины под вечно синим, как драгоценная глазурь, небом и вечно пылающим, как адский огонь, солнцем... *А-а-а, Темир-Аксак-Хан! Где дни и дела твои? Где битвы и победы? Где те, юные, нежные, ревнивые, что любили тебя, где глаза, сиявшие, точно черные солнца, на ложе твоём?*

Все молчат, все покорены песней. Но странно: та отчаянная скорбь, та горькая укоризна кому-то, которой так надрыгается она, слаще самой высокой, самой страстной радости.

Проезжий господин пристально смотрит в стол и жарко раскуривает сигару. Его дама широко раскрыла глаза, и по щекам ее бегут слезы.

Посидев некоторое время в оцепенении, они выходят на порог кофейни. Нищий кончил песню и стал жевать, отрывать от тугой лепешки, которую подал ему хозяин. Но кажется, что песня все еще длится, что ей нет и не будет конца.

Дама, уходя, сунула нищему целый золотой, но тревожно думает, что мало, ей хочется вернуться и дать ему еще один – нет, два, три или же при всех поцеловать его жесткую руку.

Глаза ее еще горят от слез, но у нее такое чувство, что никогда не была она счастливее, чем в эту минуту, после песни о том, что все суета и скорбь под солнцем, в эту темную и влажную ночь с отдаленным шумом невидимого моря, с запахом весеннего дождя, с беспокойным, до самой глубины души проникающим ветром.

Шофер, полулежавший в экипаже, поспешно выскакивает из него, наклоняется в свет от фонарей, что-то делает, похожий на зверя в своей точно вывернутой наизнанку шубе, и машина вдруг оживает, загулев, задрожав от нетерпения. Господин помогает даме войти, садится рядом, покрывая ее колени пледом, она рассеянно благодарит его... Автомобиль несется по раскату шоссе вниз, взмывает на подъем, упираясь светлыми столпами в какой-то кустарник, и опять смахивает их в сторону, роняет в темноту нового спуска... В вышине, над очертаниями чуть видных гор, кажущихся исполинскими, мелькают в жидких облаках звезды, далеко впереди чуть белеет прибором излучина залива, ветер мягко и сильно бьет в лицо...

О, Темир-Аксак-Хан, говорила песня, не было в подлунной отважней, счастливей и славнее тебя, смуглолицый, огнеглазый – светлый и благостный, как Гавриил, мудрый и пышный, как царь Сулейман! Ярче и зеленей райской листвы был шелк твоего тюбана, и семицветным звездным огнем дрожало и переливалось его алмазное перо, и за счастье прикоснуться кончиком уст к темной и узкой руке твоей, осыпанной индийскими перстнями, готовы были умереть прекраснейшие в мире царевны и рабыни. Но, до дна испив чашу земных утех, в пыли, на базаре сидел ты, Темир-Аксак-Хан, и ловил, целовал рубище проходящих калек:

– Выньте мою страждущую душу, калеки!

И века пронесли над твоей забвенной могилой, и пески замели развалины мечетей и дворцов твоих под вечно синим небом и безжалостно радостным солнцем, и дикий шиповник пророс сквозь останки лазурных фаянсов твоей гробницы, чтобы, с каждой новой весной, снова и снова томились на нем, разрывались от мучительно-сладостных песен, от тоски несказанного счастья сердца соловьев... *А-а-а, Темир-Аксак-Хан, где она, горькая мудрость твоя? Где все муки души твоей, слезами и желчью исторгнувшей вон мед земных обольщений?*

Горы ушли, отступили, мимо шоссеиной дороги мчится уже море, с шумом и раковым запахом взбегающее на белый хрящ берега. Далеко впереди, в темной низменности, рассыпаны красные и белые огни, стоит розовое зарево города, и ночь над ним и над морским заливом черна и мягка, как сажа.

Париж. 1921

Ночь отречения

Мрачная бурная ночь на исходе дождливых месяцев, тьма, ураган и ливни.

Берег священного Львиного острова, черные леса, подступившие к самому океану, как бы готовому затопить их.

Великий рев волн, пенными, внутри светящимися горами непрерывно идущих на остров и заливающих не только прибрежные отмели, на которых студенистыми кругами лежат морские звезды, испускающие таинственное сияние, и шуршат тысячи расползающихся крабов, не только береговые скалы, но и подножие тех пальм, что склонились, змеевидно изогнулись своими тонкими стволами с береговых обрывов.

Сырой и теплый ураган проносится от времени до времени с сугубой стремительностью, с несказанной силой, столь величаво и мощно, что к океану буйно катится из лесов гул не менее страшный и тяжкий, чем гул самого океана: тогда пальмы, мотавшиеся из стороны в сторону, подобно живым существам, мучимым беспокойной дремотой, вдруг низко склоняются под напором домчавшейся до берега бури, все разом падают долу, и с верхушек их с шумом сыплются мириады мертвых листьев, а в воздухе веет пряными благовониями, принесенными из глубины острова, из заповедных недр лесных.

Тучи, угрюмые и грузные, как в ночи Потопа, все ниже спускаются над океаном. Но в безграничном пространстве между ними и водной хлябью есть некое подобие света: океан до сокровенных глубин насыщен сокровенным пламенем неисчислимых жизней.

Валы океана, с огненно-кипящими гривами, в реве и в гуле бегущие к берегу, вспыхивают, перед тем как рушиться, столь ярко, что озаряют зеленым отблеском человека, стоящего в лесу над берегом.

Человек этот бос, с обрезанными волосами, с обнаженным правым плечом, в рубище отшельника.

Он мал, как дитя, среди окружающего его величия, и не ужас ли мелькнул в его изможденном лице при блеске и грохоте разрушившегося вала?

Твердо и звучно, преодолевая и этот грохот, и слитный гул лесов и урагана, возглашает он:

– Слава Возвышенному, Святому, Всепросветленному, Победившему Желание!

Вихрем несутся вместе с ураганом, в черной лесной тьме, мириады как бы огненных глаз. И восторженно звучит голос человека, стоящего на берегу:

– Тщетно, Мара! Тщетно, Тысячеглазый, искушаешь ты, проносясь над землей животворящими ураганами и ливнями, тучным и уже вновь благовонным тлением могил, рождающих новую жизнь из гнили и праха! Отступись, Мара! Как дождевая капля с тугого листа лотоса, скатывается с меня Желание!

Но победно, в ливне сыплющихся листьев, мчитесь вихрь несметных огненных глаз, озаряя под черным лесным навесом как бы исполинское изваяние: сидящего на земле, главой своей возвышающегося до самых верхушек пальм. Ноги его скрещены.

От шеи до чресл увит он серыми кольцами змея, раздувшего свое розовое горло, простершего свою плоскую, косоглазую голову над его главой.

Невзирая на безмерную тяжесть змеиных колец, сидящий свободен и статен, величав и прям.

Божественный нарост, острый бугор на его темени. Черно-синие, курчавые, но короткие волосы – как синева в хвосте павлина. Красный лик царственно спокоен. Взгляд блестящ, подобен самоцвету.

И страшный голос его, голос, звучащий без напряжения, по силе же подобный грому, величаво катится из глубины лесов к человеку, стоящему на берегу:

– Истинно, истинно говорю тебе, ученик: снова и снова отречешься ты от меня ради Мары, ради сладкого обмана смертной жизни, в эту ночь земной весны.

Париж. 1921

Безумный художник

Золотилось солнце на востоке, за туманной синью далеких лесов, за белой снежной низменностью, на которую глядел с невысокого горного берега древний русский город. Был канун Рождества, бодрое утро с легким морозом и инеем.

Только что пришел петроградский поезд: в гору, по наезженному снегу, от железнодорожной станции, тянулись извозчики, с седоками и без седоков.

В старой большой гостинице на просторной площади, против старых торговых рядов, было тихо и пусто, прибрано к празднику. Гостей не ждали. Но вот к крыльцу подъехал господин в пенсне, с изумленными глазами, в черном бархатном берете, из-под которого падали зеленоватые кудри, и в длинной дохе блестящего каштанового меха.

Рыжий бородач на козлах притворно кричал, желая показать, что он промерз, что следует набавить ему. Седок не обратил на него внимания, предоставив расплатиться с ним гостинице.

– Ведите меня в самый светлый номер, – громко сказал он, торжественным шагом следуя по широкому коридору за молодым коридорным, несшим его дорогой заграничный чемодан. – Я художник, – сказал он, – но на этот раз мне не нужна комната на север. Отнюдь нет.

Коридорный распахнул дверь в номер первый, самый почетный, состоявший из прихожей и двух обширных комнат, где окна были, однако, невелики и очень глубоки, по причине толстых стен. В комнатах было тепло, уютно и спокойно, янтарно от солнца, смягченного инеем на нижних стеклах. Осторожно опустив чемодан на ковер посередине приемной, коридорный, молодой малый с умными веселыми глазами, остановился в ожидании паспорта и приказаний. Художник, ростом невысокий, юношески легкий вопреки своему возрасту, в берете и бархатной куртке, прошелся из угла в угол и, сронив движением бровей пенсне, потер белыми, точно алебастровыми руками свое бледное, измученное лицо. Потом странно посмотрел на слугу невидящим взором очень близорукого и рассеянного человека.

– Двадцать четвертое декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года! – сказал он. – Эту дату ты должен запомнить!

– Слушаюсь, – ответил коридорный.

Художник вынул из бокового кармана куртки золотые часы, мельком, прищулив один глаз, взглянул на них.

– Ровно половина десятого, – продолжал он, снова устраивая на носу свои стекла. – Я у цели своего паломничества. Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение! Паспорт я тебе дам, не беспокойся, но сейчас мне не до паспорта. У меня нет ни одной свободной минуты. Сейчас я спешу в город, чтобы вернуться ровно в одиннадцать. Я должен завершить дело всей моей жизни. Мой молодой друг, – сказал он, протягивая к коридорному руку и показывая ему два обручальных кольца, из которых одно, на мизинце, было женское, – это кольцо – предсмертный завет!

– Так точно, – ответил коридорный.

– И я этот завет исполню! – грозно сказал художник. – Я напишу бессмертную вещь! И я подарю ее – тебе.

– Покорнейше благодарим, – ответил коридорный.

– Но, любезный, дело в том, что я не взял с собой ни холста, ни красок, – провезти их из-за этой чудовищной войны было совершенно невозможно. Я надеюсь достать их здесь. Я наконец воплещу все то, что сводило меня с ума целых два года, а потом так дивно преобразилось в Стокгольме!

Говоря и отчеканивая слова, художник в упор смотрел через пенсне на своего собеседника.

– Весь мир должен узнать и понять это откровение, эту благую весть! – воскликнул он, театрально взмахнув рукой. – Слышишь? Весь мир! Все!

– Хорошо-с, – ответил коридорный. – Я доложу хозяину.

Художник снова надел доху и направился к двери. Коридорный со всех ног кинулся открывать ее. Художник важно кивнул ему и зашагал по коридору. На площадке лестницы он приостановился и добавил:

– В мире, мой друг, нет праздника выше Рождества. Нет таинства, равного рождению человека. Последний миг кровавого, старого мира! Рождается новый человек!

На улице совсем ободнялось, стало совсем солнечно. Иней на телеграфных проволоках рисовался по голубому небу нежно и сизо и уже крошился, осыпался. На площади толпился целый лес густых темно-зеленых елок. У мясных лавок стояли мерзлые белые туши голых свиней с глубокими разрезами на толстых загривках, висели серые рябчики, ощипанные гуси, индейки, жирные и застывшие. Прохожие, переговариваясь, спешили, извозчики стегали лохматых лошадей, подреза визжали.

– Узнаю тебя, Русь! – громко говорил художник, шагая по площади и глядя на туго подпоясанных, толсто одетых бодрых торговцев и торговок, покрикивающих возле своих лотков с самодельными деревянными игрушками и большими белыми пряниками в виде коней, петухов и рыб.

Он подозвал свободного извозчика и велел ехать ему на главную улицу.

– Только живее, к одиннадцати я должен быть дома за работой, – сказал он, садясь в холодные санки, кладя на колени себе тяжелую, каляную полость.

Извозчик мотнул шапкой и быстро понес его на своем сытом меринке по блестящей, накатанной дороге.

– Живее, живее! – повторил художник. – В двенадцать самый полный свет солнца. – Да, – сказал он, оглядываясь, – места знакомые, но основательно забытые! Как называется эта площадь?

– Чего изволите? – спросил извозчик.

– Я тебя спрашиваю, как называется эта площадь? – крикнул художник, внезапно впадая в ярость. – Стой, негодяй! Зачем ты привез меня к часовне? Я боюсь церквей и часовен! Стой! Ты знаешь, что один финн привез меня к кладбищу, и я тотчас же написал письма к королю и к папе, и он был приговорен к смертной казни! Вези назад!

Извозчик осадил разбежавшуюся лошадь и взглянул на седока с недоумением:

– Куда же прикажете? Вы сказали, на главную улицу...

– Я сказал тебе – в художественный магазин!

– Вы бы лучше, барин, другого наняли, мы не понимаем.

– Ну и убирайся к черту! Вот тебе твои сребреники!

И художник неловко вылез из саней, бросил извозчику трехрублевку и пошел прочь, назад, посередине улицы. Доха его распахнулась, волочилась по снегу, глаза страдальчески и растерянно блуждали по сторонам. Увидав в окне магазина золоченые багеты, он поспешно вошел в магазин. Но едва он заговорил о красках, румяная барышня в шубке, сидевшая за кассой, тотчас же перебила его:

– Ах нет, у нас красками не торгуют. У нас только рамы, багеты и обои. Да и вообще вряд ли вы найдете у нас в городе холст и масляные краски.

Художник с непритворным отчаянием схватился за голову.

– Боже мой, да неужели? Ах, как это ужасно! Сейчас и именно сейчас краски для меня вопрос жизни и смерти! Идея моя совершенно созрела еще в Стокгольме и, будучи воплощенной, должна произвести неслыханное впечатление. Я должен написать вифлеемскую пещеру, написать Рождество и залить всю картину, – и эти ясли, и младенца, и Мадонну, и льва, и ягненка, возлежащих рядом, – именно рядом! – таким ликованием ангелов, таким светом,

чтобы это было воистину рождением нового человека. Только у меня это будет в Испании, стране нашего первого, брачного путешествия. Вдали – синие горы, на холмах цветущие деревья, в раскрытых небесах...

– Извиняюсь, господин, – сказала барышня с испугом, – здесь могут покупатели прийти. У нас только рамы, багеты и шпалеры...

Художник восторженно и с преувеличенной вежливостью поднял свой берет:

– Ах, простите ради бога! Вы правы, тысячу раз правы!

И поспешно вышел.

Через несколько домов, в магазине «Знание», он купил очень большой лист шершавого картона, цветных карандашей и акварельные краски на бумажной палитре. Затем опять вскочил на извозчика и погнал его в гостиницу. В гостинице он тотчас позвонил. Явился тот же коридорный. Художник держал в руках паспорт.

– Вот! – сказал он, протягивая его коридорному. – Кесарево – кесарю. А затем, любезный, ты должен принести мне стакан воды для акварели. Масляных красок, увы, нигде нет. Война! Железный век! Пещерный век!

И, подумав, внезапно просиял восторгом:

– А какой день! Боже, какой день! Ровно в полночь рождается Спаситель! Спаситель мира! Я так и подпишу под картиной: «Рождение Нового Человека!» Мадонну я напишу с той, чье имя отныне священо. Я воскрешу ее, убитую злой силой вместе с новой жизнью, выношенной ею под сердцем!

Коридорный опять выразил свою неизменную готовность на услуги и опять ушел. Но когда, через несколько минут, он принес стакан и графин свежей воды, художник крепко спал. Бледное и худое лицо его было похоже на алебастровую маску. Он высоко, навзничь лежал на подушках на кровати в спальне, закинув голову, разметав свои длинные серо-зеленые волосы, и не было слышно даже дыхания его. Коридорный удалился на цыпочках и за дверью столкнулся с хозяином, приземистым человеком с бобриком на темени и острыми глазами.

– Ну что? – спросил хозяин быстрым шепотом.

– Спит, – ответил коридорный.

– Чудеса! – сказал хозяин. – А паспорт правильный. Только отмечено, что жена померла. Иван Матвеич звонил из полиции, велел присматривать. Ты того, держи ухо востро. Время, брат, военное.

– Говорит – одарю тебя, дай только дело сделать, – сказал коридорный. – Самовара не спрашивает...

– Вот, вот! – подхватил хозяин и прильнул ухом к двери.

Но за дверью было тихо, и только чувствовалась та грусть, что всегда бывает в комнате спящего человека.

Солнце медленно уходило из номера. Потом и совсем ушло. Иней на окнах посерел, стал скучный. В сумерки художник внезапно проснулся и тотчас кинулся к звонку.

– Это ужасно! – закричал он, как только появился коридорный. – Ты меня не разбудил! А меж тем именно из-за этого дня мы и предприняли нашу страшную одиссею. Представь же себе, каково было ей, беременной на восьмом месяце! Мы прошли через тысячу всяческих рогаток, не спали, не ели почти шесть недель. А море! А бешеные качки! А этот непрестанный страх, что, того гляди, взлетишь на воздух! «Все наверх! Готовь спасательные пояса! Первому, кто кинется к шлюпке без команды, размозжу череп!»

– Так точно, – сказал коридорный, оторопев от его зычного крика.

– А какой был радостный свет! – продолжал художник, успокаиваясь. – Я при таком настроении духа, как давеча, кончил бы работу в два-три часа. Но что ж делать! Буду работать всю ночь. Только помоги мне кое-что приготовить. Стол этот, пожалуй, годится...

Он подошел к преддиванному столу, стащил с него бархатную скатерть, покачал его:

– Стоит довольно твердо. Но вот что: у вас здесь всего две свечи. Надо принести еще восемь, иначе я не могу писать. Мне нужна бездна света!

Коридорный опять вышел и долго спустя принес семь свечей в разных подсвечниках.

– Одной нету, все по номерам, – сказал он.

Художник опять заволновался, опять закричал:

– Ах, как это досадно! Десять, десять нужно было! На всяком шагу преграды, низости! Помогите мне, по крайней мере, поставить стол как раз посередине комнаты. Мы увеличим свет отражениями в зеркале...

Коридорный потащил стол на указанное место, покрепче уставил его.

– Теперь надо застелить чем-нибудь белым, не поглощающим света, – бормотал художник, неловко помогая, роняя и надевая пенсне. – Чем бы это? Белых скатертей я боюсь... Ба, у меня куча газет, я предусмотрительно не выбрасывал их!

Он открыл чемодан, лежавший на полу, взял оттуда несколько номеров газеты, застелил стол, прикрепил кнопками, разложил карандаши, палитру, расставил в ряд девять свечей и все зажег их. Комната приняла странный, праздничный, но и зловещий вид от этого обилия огней. Окна почернели. Свечи отражались в зеркале над диваном, бросая яркий золотой свет на белое серьезное лицо художника и на молодое озабоченное лицо коридорного. Когда наконец все было готово, коридорный почтительно отступил к порогу и спросил:

– Кушать будете у нас али на стороне?

Художник горько и театрально усмехнулся:

– Дитя! Он воображает, что я могу в такую минуту есть! Иди с миром, друг мой. Ты свободен теперь до утра.

И коридорный осторожно вышел вон.

Часы текли. Художник ходил из угла в угол. Он сказал себе: «Надо подготовиться». За окнами чернела зимняя морозная ночь. Он опустил на них шторы. В гостинице все молчало. За дверью в коридоре слышались осторожные, воровские шаги, – за художником подсматривали в замочную скважину, подслушивали. Потом и шаги стихли. Свечи пылали, дрожа огнями, отражаясь в зеркале. Лицо художника становилось все болезненнее.

– Нет! – вскричал он вдруг, резко останавливаясь. – Сперва я должен возобновить в памяти ее черты. Прочь детский страх!

Он наклонился к чемодану, волосы его повисли. Запустив руку под белье, он вытащил большой белый бархатный альбом, сел в кресло у стола. Раскрыв альбом, он решительно и гордо откинул голову назад и замер в созерцании.

В альбоме был большой фотографический снимок: внутренность какой-то пустой часовни, со сводами, с блестящими стенами из гладкого камня. Посредине, на возвышении, покрытом траурным сукном, тянулся длинный гроб, в котором лежала худая женщина с сомкнутыми выпуклыми веками. Узкая и красивая голова ее была окружена гирляндой цветов, высоко на груди покоились сложенные руки. В возглавии гроба стояли три церковных свешника, у подножия – крохотный гробик с младенцем, похожим на куклу.

Художник напряженно вглядывался в острые черты покойной. Вдруг лицо его исказилось ужасом. Он кинул альбом на ковер, вскочил, бросился к чемодану. Он перерыл его весь, до дна, разбросал по полу рубашки, носки, галстуки... Нет, того, что он искал, не было! Он отчаянно озибался по сторонам, тер рукою лоб...

– Полжизни за кисть! – воскликнул он хриплым голосом, топнув ногою. – Забыл, забыл, несчастный! Ищи же! Сотвори чудо!

Но кисти не было. Он пошарил по карманам, нашел перочинный нож, подбежал к дохе... Разве вырезать клоч меху и привязать к перу, к щепке? Но где взять ниток? Ночь, все спят... его примут за сумасшедшего! И он яростно схватил с дивана картон, швырнул его на стол,

сбегал в спальню за подушками, положил их на кресло, чтобы было выше сидеть, и, хватая то один, то другой цветной карандаш, с головой ушел в работу.

Он трудился без отдыха. Он снял пенсне и низко наклонился к столу, бросал сильные и уверенные удары, откидывался, вперея взгляд в зеркало, светлый туман которого был полон дрожащими цветистыми огнями. От жара свечей волосы художника на висках смоклись, от напряжения вздулись жилы на шее. Глаза слезились и горели, черты лица обрезались.

Наконец он увидел, что лист картона безнадежно испорчен, – нелепо и ярко загроможден рисунками, совершенно противоположными друг другу по смыслу и по значению их: горячее вдохновение художника совершенно не повиновалось ему, делало совсем не то, что ему хотелось. Он перевернул картон и, схватив синий карандаш, оцепенел на некоторое время. Раскрытый альбом лежал возле его кресла. Из альбома так и бил в глаза длинный гроб и мертвый лик. Он порывисто захлопнул альбом. В чемодане торчала из белья оплетенная фляжка с одеколоном. Он вскочил, быстро отвинтил ее крышечку и, обжигаясь, стал пить. Опорожнив фляжку почти до дна и отдуваясь от душистого пламени, с пылающим горлом, он опять пошел шагать по комнате.

Вскоре юношеская сила овладела им – дерзкая решительность, уверенность в каждой своей мысли, в каждом своем чувстве, – сознание, что он все может, все смеет, что нет более для него сомнений, нет преград. Он исполнился надежд и радости. Ему казалось, что мрачные, дьявольские наваждения жизни, черными волнами заливавшие его воображение, отступают от него. Осанна! Благословен грядый во имя Господне!

Теперь перед его умственным взором, с потрясающей, с небывалой доселе ясностью, стояло лишь то, чего жаждало его сердце, сердце не раба жизни, а творца ее, как мысленно говорил он себе. Небеса, преисполненные вечного света, млеющие эдемской лазурью и клубящиеся дивными, хотя и смутными облаками, грезилась ему; светозарные лики и крылья несметных ликующих серафимов проступали в жуткой литургической красоте небес; Бог Отец, грозный и радостный, благий и торжествующий, как в дни творения, высился среди них радужным исплинским видением; Дева неизреченной прелести, с очами, полными блаженства счастливой матери, стоя на облачных клубках, сквозящих синью земных далей, простертых под нею, являла миру, высоко поднимала на божественных руках своих младенца, блистающего, как солнце, и дикий, могучий Иоанн, препоясанный звериной шкурою, на коленях стоял возле ее ног, в исступлении любви, нежности и благодарности целуя край ее одежды...

И художник снова кинулся к своей работе. Он ломал и с лихорадочной поспешностью, трясущимися руками вновь острил ножом карандаши. Догоравшие свечи, оплывшие, текущие по раскаленным подсвечникам, еще жарче пылали возле его лица, завешанного вдоль щек мокрыми волосами.

В шесть часов он бешено давил кнопку звонка: он кончил, кончил! Затем побежал к столу и стоя, с бьющимся сердцем, стал ждать коридорного. Теперь он был бледен такой бледностью, что губы у него казались черными. Вся куртка его была осыпана разноцветной пылью карандашей. Темные глаза горели нечеловеческим страданием и вместе с тем каким-то свирепым восторгом.

Никто не шел. Гробовая тишина окружала его. Но он стоял, он ждал, весь превратившись в слух и ожидание. Вот, сию минуту вбежит коридорный, и он, творец, завершивший свой труд, изливший свою душу по воле самого божества, быстро скажет ему заранее приготовленные, страшные и победительные слова:

– Возьми. Я тебе дарю это.

И он, близкий от стука своего сердца к потере сознания, крепко держал в руке картон. На картоне же, сплошь расцвеченном, чудовищно громоздилось то, что покорило его воображение в полной противоположности его страстным мечтам. Дикое, черно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жилищ.

Дыбы, эшафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне. Над всей картиной, над всем этим морем огня и дыма, величаво, демонически высился огромный крест с распятым на нем, окровавленным страдальцем, широко и покорно раскинувшим длани по перекладинам креста. Смерть, в доспехах и зубчатой короне, оскалив свою гробную челюсть, с разбегу подавшись вперед, глубоко всадила под сердце распятого железный трезубец.

Низ же картины являл беспорядочную грудку мертвых – и свалку, грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти, ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися из орбит, были столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие.

Париж. 1921

О дураке Емеле, какой вышел всех умнее

Емеля был дурак, а прожил на свете так, как дай бог всякому: не сеял, не пахал и никакой работы не знал, а на печке сытенький полеживал. К самому царю на оправданье на печке ездил.

Пошел по воду Емеля, – его братья по сторонам нанимались, а он только на печи лежал и невесткам угожал, за водой вразвалочку ходил, дрова колол да сладким сном занимался, – пришел на речку, а в воде черная щука ходит. Он ее поскорей за хвост и давай на берег тащить, а она его стала со слезьми об милости просить:

– Мол,пусти меня, Емеля, я гожусь тебе в некое время.

Он ее бросил, отпустил, а она и говорит:

– Проси, чего тебе хочется, не хочется.

– Мне, – говорит Емеля, – ведра несть не хочется: пушай сами идут.

Она сейчас сказала: «По щучью по веленью, по моему прошенью, идите, ведра, собой сами!» – они и пошли сами ко двору. Емеля следом за ними поспешает, песенки потанакивает, а они покачиваются, как утки, сами идут. По селу народ встречается, во все окна глядят: глянь-ка, мол, глянь, у Емельки ведра сами идут! – А он дошел до двора и шумит:

– Эй вы, двери-тетери, по щучью по веленью, по моему прошенью, отворяйтесь, двери, собой сами! Мне неохота себя трудить, у меня одна думка – послаже на свете пожить!

Тут двери сейчас собой сами растворились, а ведра только через порог посигивают, стали в избу прядать-скакать, а невестки от них куда попало кидаются, испужались дуже:

– Что это, дескать, такое, что это ты, дурак, дуросветишь? Где ты такое взял, что ведра у тебя сами ходят?

– У вас, – говорит Емеля, – не ходят, а у меня, – говорит, – ходят. Это уж пушай умные хрип-то гнут! Пеките мне блинов за работу!

Ну вот и не раз и не два ходил Емеля таким побытом на речку, и всё ведра у него сами гуляли. Потом, глядь, дров нету. Они и просят его, невестки-то:

– Емеля, а Емеля, у нас дров рубленых нету. Ступай скорее за дровами, а то тебе же на печи холодно будет.

Он опять им, ни слова не говоря, покоряется, выходит, стало быть, на двор с ленцой, с раскорячкою и приказывает:

– Мне, – говорит, – смерть не хочется дрова рубить, ну-ка, по щучью по веленью, по моему прошенью, руби, топор, сам. А вы, дрова-борова, идите собой сами в избу, мне не хочется вас носить, себя беспокоить. Сторона наша, дескать, богатая, лень дремучая, рогатая: в тесные ворота не лезет!

Топор-колун сейчас у него из рук шмыг, взвился выше крыши и пошел долбить, двери в сенцы, в избу распахнулись, а дрова и давай скакать – прыгают, вроде как рыбы али щуки, а невестки опять дуром этого дела испужались, прячутся какая под стол, какая под коник, – мол, попадет, насмерть ушибет! – а топор так и крошит, так и валяет, – во-о сколько нашвырял, цельное беремья. Невестки Емелю с гневом ругают, грозят братьям нажалиться, а он только, как сом, ухмыляется:

– Вы блины-то мне пеките знайте да маслом дужей поливайте. – А сам опять на печь в отставку полез, спать да дремать, мусором голову пересыпать.

Потом не за долгое время и на дворе дрова перевелись. Невестки приступили, в лес его посылают, братьями тращуют, нынче, дескать, братья с работы придут, мы им накажем, что ты нас не слушаешься, только лежишь да тараканов мнешь, они тебя, облома, не помилуют. А он, Емеля, на расправу жидкий был, страсть этого боя боялся, вскочил поскорей с печи, оделся в свой зипун-малахай, кушаком подпоясался, взял топор-колун и заткнул за кушак за этот. Невестки говорят – тебе надо лошадь запрячь, ты ведь сам не умеешь по своей дурости, а он

говорит, а на что она мне, лошадь-то, – только маять ее? Я и на санях на одних съезжу, у вас не ходят без лошади сани, а у меня вот ходят.

Пошел к саням, подвязал оглобли назад, сел и приказывает: «По щучью по веленью, по моему прошенью, отворяйтесь, ворота, сами!» Ворота сейчас растворяются, а он кричит: «А вы, сани, ступайте в путь-дорогу сами!» Сани и полетели, – их лошадь так не везет, как их понесло! – скачут через город, людей с ног долой сшибают, давят, а ему, Емеле, и горяшка мало. Народ – «ах, ах, сани сами едут!» – хотели его окоротить – куда тебе, его и след замело! Потом приехал он в лес, остановились эти сани, значит, в лесе. Слезает он с саней, Емеля, вынимает топор из-за пояса:

– Ну-ка, – говорит, – руби, топор, по моему, по щучьему веленью. А я посижу, погляжу, в голове маленько почешу: страсть свербит чтой-то!

Топор сейчас же начинает рубить – только звон жундит по лесу! Нарубил, сколько надо, потом Емеля и говорит: «А вы, дрова, по моему прошенью, ложитесь в сани сами, мне неохота вас класть, это мне не сласть». Дрова и пошли прядать, головами мотать да укладываться в сани. Навил Емеля воз, заткнул топор за кушак-подпояску, садится на сани и приказывает, ступайте, мол, теперича, сани, сами собой ко двору. Сани опять пустились стрелой по городу, дворяне и миряне увидали – «ах, ах, опять этот злодей, какой народ подавил!» – хотели его перенять, забежали под дорогу с дубинками, с рогачами, только не тут-то было, перенять-то его! Подавил с возом народу еще боле, чем когда порожнем ехал, приезжает ко двору, невестки оглядели в окно и давай опять ругать его, – вот, мол, дурак какой глупый, сколько ты, облом, народу безвинно подавил, а он им отвечает, а зачем, говорит, они меня на табельной дороге окорачивали с дубинками, с рогачами, под сани лезли? Потом сказал свое щучье слово, ворота перед ним враз растворились, он и въехал во двор с возом. Тут опять, значит, посигали дрова-поленья в избу, напужали невесток опять этим стуком, а Емеля-дурак залез на печь и опять наказал печь ему блинов поболе да маслом мазать пожирнее.

Ну вот он ел, ел, потом глядь в окно, а тут розыск, ищут его сотники, староста, хотят к наказанью представить за все его баснословья. Он, был, забился, куда потемнее в угол, в сор, в паучину, ну только все-таки они его нашли там, на этой печке.

– Слезай, – говорят, – Емеля, пришло твое время. Что это ты дуросветишь, народ кале-чишь? Вот мы тебя заберем и в холодную отведем, как это, мол, ты без лошади ездешь, неладно делаешь, чепуху творишь?

Зачали его с печки снимать, тащить, хотят его покою лишить, а он обиделся на них и говорит дубинке своей, какая у него в уголку стояла:

– Ну-ка, – говорит, – покажи им, дубинка, белый свет!

Сказал свое щучье слово, а дубинка как взовьется, как козлекнет из угла, да и давай их строчить по рукам, по головам, старосту и сотников этих. Они – ах, ах, что это, дескать, такое, что дубинка нас по головам крбят? – да поскорей вон из хаты. Кинулись к становому, к стражникам, он, говорят, нас не слушается, а силой его никак не возьмешь, идите, значит, сами, может, он вас боле почитает, а про дубинку про эту, какая их угощала, понятное дело, молчок. Потом собрались все урядники, стражники и сам становой с ними, староста им указал, где он, Емеля, спасается, они и входят в избу к нему всем гуртом:

– Ну теперь, Емеля-дурачок, мы тебя с солдатами заберем, саблями тебя зарубим, – слезай скорей с печи, надевай зипун на плечи, к допросу отправляйся!

А он опять не слушается, – их полна изба напихалась, а он опять не идет, в углу песенку поет:

Ой, вы, очи, ясные мои очи,
Емеля на расправу итить не хоча!

Они его честью умоляют, а он опять свое, опять эти очи поет. Ну, как они его опять раздражили, он и говорит:

– По шучью по веленью, по моему моленью, – а дубинка эта так и лежит с ним на печке, – ну-ка, – говорит, – дубинка, попотчуй их сахаром!

Та дубинка сейчас встает и давай их охаживать с головы на голову, станového и стражников, и повыгнала, значит, всех из хаты вон.

– Ну что теперь с ним делать, – становой говорит, – как его нам взять, ребята?

А один стражник и надумайся:

– Давайте, – говорит, – обманом возьмем. Скажем, что тебя сам государь велел пригласить. Он тебе велит всяких пряников медовых надавать. (А он, Емеля, любитель был есть эти пряники и жамки.) Он тебя, мол, досыта накормит, государь-то.

Сговорились так-то, пришли и давай его улещать, волновать. Ну он и согласился. Ну хорошо, говорит, благодарю вас за внимание, ступайте ко двору и не беспокойте себя, – я сам к нему, к государю, поеду.

Они и ушли все от него, а он и приказывает печке:

– Ну-ка, – говорит, – печка, ступай-ка теперь, по моему приказу, к самому к царю во дворец! Про нас с тобой слава до самого царя дошла. Он, государь, обещает меня жамками накормить, а я любитель до них.

Печь сейчас же заворочалась, захрустела, загремела по избе, выпросталась наружу с ним и полетела стрелой, а он развалился на ней, все равно как на пассажирном поезде, на паровозе едет. Подъезжает к государеву дворцу, приказывает царским вратам отворяться и прет прямо на печке на этой к балкону, к крыльцу к главному, а сам шумит, кричит во всю глотку, во всю праведную: «Ой, вы, очи, мои ясные очи!» Часовые слуги бегут, хотят его унять, усовестить, а государь услышал этот шум-бардак и сам, значит, вместе с дочкой-наследницей на крыльцо выходит:

– Что ты, – говорит, – невежа, тут кричишь, зачем ты, – говорит, – в наши царские покои приехал, чудеса творишь, на печке едешь? Сказывай, кто ты такой. Ты, верно, Емеля-дурачок?

А Емеля подымается с печки, разбирает виски с глаз, утирает сопли-возгри и кланяется ему, государю своему:

– Так точно, мол, ваше императорское величество, это я самый и есть. Я, – говорит, – затем сюда приехал, государь-батюшка, что вы меня звали пряниками кормить, а я любитель их есть.

– Я тебя не пряниками кормить, – говорит ему государь с гневом, – я тебя велю сейчас в тюрьму забрать! Я тебя, – говорит, – заберу под арест.

– А за что же, ваше императорское величество, заберете вы меня?

– А за то, – говорит, – что ты на санях без лошади едешь, народ смутьянишь и жителей большое число подавил, помял. Я велю сейчас тебе голову снести. Вот тебе меч и голова долой с плеч!

Царь ему говорит – на тебя жалоб много, за это тебе нехорошо будет, за бесчестье такое, а он опять играет песню «ой, вы, очи, мои ясные очи», на печке лежит и песню кричит во всё рыло. Государь осерчал, разгорячился, крикнул прислуг часовых, – взять, дескать, его в двадцать четыре часа! – а Емеля, понявши такое дело, полны портки со страху напустил и говорит поскорей:

– По шучью по веленью, по моему низкому прошенью, влюбись в меня, царская дочь-наследница, просись замуж за меня!

Прислуга бегут, хотят его с печи тащить, а царская дочь начинает государя со слезами за него просить:

– Лучше, мол, государь-батюшка, меня скажите, – я не могу его злой смерти перенести, у него волшебное слово есть. Вы, – говорит, – не глядите, что он такой сопатый, толстопятый, глаза дыркою, нос просвиркою, он нос утрет, за Иван-царевича сойдет!

Ну, государь и сжалился на нее, наследницу свою. Оттрепал для видимости Емелю дурака за вшивый вихор, наказал ему строго-настрога больше так-то не охальничать, накидал ему на печку из собственных рук леденцов-пряников, а Емеля наклонялся ему, набил зоб этими закусками, дубинкой махнул, печку повернул и пошел чесать на печке ко двору, скачет-летит, а сам еще пуще прежнего свою песню шумит, – только по лесу отзывается!

Тут долго ли, коротко ли, только царская дочь, как только он, значит, скрылся с глаз долой, и зачни по нем сохнуть, горевать: он ей просто с ума нейдет, – дюже влюбилась в него по этому по щучьему слову! Государь видит ее муку и, на конец того, обращается к ней, просит ее во всем сознаться. Ну, она ему и покачалась:

– Государь, мол, батюшка, я вся истянулась, истощала по нему, по Емеле-дураку. Не отдавай мне царства-государства, а построй мне фамильный склеп-могилу, коли не хочешь меня замуж за него отдать!

Ну что тут делать государю при таких речах? Он опять сжалился на нее и посылает сейчас посланников в эту деревню, где, значит, Емеля проживал, лаптем щи хлебал. Приехали эти посланники верхом на конях, нашли его в этой деревне, взошли в избу и давай его умолять:

– Емелюшка, милый, видно, мол, добился ты своего: не будешь ни пахать, ни косить, будешь только жамки в рот носить. Государь тебя честью к себе просит, хочет дочку за тебя выдать. Утирай свои сопли, чеши свои кудлы, надевай портки-рубаху – мы тебе за сваху!

А он, Емеля, еще ломается, – а, дескать, теперь мил стал!

– Я, – говорит, – по-людски ничего не хочу делать. Я всем головам голова. Я на печи поеду. Мне ваши кареты-коляски без надобности. Мне с печи слезать не хочется. Моя думка одна – себя не трудить, а на свете послаже пожить.

Посланники, понятно, и на то обрадовались, – им царь не велел без него и на глаза показываться, – на все его причуды подписываются, в пояс ему кланяются, а он велит братьям с невестками прибраться, как надо, и с ним вместе ехать, – полно, мол, вам тут в лесу сидеть, на пни глядеть! Они – в голос, кричат, рыдают, не хотят с домом расставаться, робеют этого дела, ты, говорят, и нас под великую беду подведешь, а он говорит, если, говорит, честью не поедете, я вас силком посажу. Велел всем жаровые рубахи, красные сарафаны надевать – они, дурачки-то, любят красненькое, – насажал всех на печку, чисто цветы какие, наказал сидеть смирно-благородно, заиграл свою веселую песню и попер наружу, – только пороги затрещали!

В поле навстречу ему – коляска золотая, – государь, значит, выслал, – солдаты везде стоят, честь отдают, на караул держат-тянутся, а он их и во внимание не берет, и опять его печка прямо к балкону везет. Выходит государь: «Приехал, говорит, Емеля?» – «Приехал, мол, так точно. А на что, государь-батюшка, я нужен вам?» – «А на то, говорит, нужен, что сокрушили вы мою дочку, хочу вас повенчать с нею. С печи, говорит, поскорее слезайте, а вы, дочка наша, хлеб-соль ему подавайте».

Ну, Емеля, понятно, поскорей долой, ему только и надо было этого приглашенья, велел и братьям с невестками слезать, стать в сторонке и шепоту никакого не делать, потом поцеловал, как надо, государю ручку, невесте честь честью поклонился, – хоть бы и не дураку впору! – хлеб-соль принял, и пошли они, значит, всем миром, собором прямо в царские хоромы. Там государь доложил домашнему священнику, велел ему в церковь идти, все к венцу готовить, а сам вынес икону заветную и благословил Емелю с своей дочкой на жизнь вечную. Потом, понятно, нос ему утерли, в бане отмыли, в красный кафтан нарядили и свадьбу по всему закону сыграли, а государь под него тут же полцарства своего подписал.

Я на том пиру, как говорится, был, да, признаться, все это дело забыл, – дюже пристально угощали: и теперь глаз от синяков не прoderу!

А Емеля стал жить да поживать, на бархатных постелях лежать, душу сладкими закусками ублажать да свою царевну за хохолок держать:

– Мол, и без меня управятся, – с государством-то!

Париж. 1921

Конец

I

На горе в городе был в этот промозглый зимний день тот роковой промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники и убегают последние из убегающих обывателей... Город пустел все страшнее, все безнадежнее для оставшихся в нем и мучающихся еще неполной разрешенностью своей судьбы. По окраинам, возле вокзала и на совершенно вымерших улицах возле почты и государственного банка, где на мостовых уже лежали убитые, то и дело поднимался треск, град винтовок или спешно, дробно строчил пулемет.

К вечеру из-за северной заставы началась орудийная пальба, бодро раздавался тяжкий, глухой стук, от которого вздрагивала земля, за ним великолепный, с победоносной мощью режущий воздух и звенящий звук снаряда и, наконец, громовый разрыв, оглушающий весь город. Потом внезапно пошла частая и беспорядочная ружейная стрельба на спусках в порт и в самом порту, все приближаясь к «Патрасу», под французским флагом стоявшему у набережной в Карантинной гавани. Откуда-то донесся быстро бегущий, тревожно и печально требующий дороги рожок кареты «скорой помощи»... Стало жутко и на «Патрасе», – то страшное, что совершалось на горе, доходило и до него. «Что же мы стоим? – слышались голоса в толпе, наполнявшей парокход. – С ума сошли, что ли, французы? Нас не выпустят, нас всех перережут!» – И все стали врать напрапую, стараясь зачем-то еще более напугать и себя и других: угля, говорят, нет, команда, говорят, бунтует, матросы красный флаг хотят выкинуть... Между тем уже темнело.

Но вот, в пятом часу, выскочил наконец из-за старого здания таможни и подлетел к парокходу крытый автомобиль – и у всех вырвался вздох облегчения: консул приехал, значит, слава богу, сейчас отвалим. Консул, с портфелем под мышкой, выпрыгнул из автомобиля и пробежал по сходням, за ним быстро прошел офицер в желтых крагах и в короткой волчьей шубке мехом наружу, нарочито грубого и воинственного вида, и тотчас же загремела лебедка, и к автомобилю стала спускаться петля каната. Все с жадным любопытством столпились к борту, уже не обращая внимания на стрельбу где-то совсем близко, автомобиль, охваченный петлей, покоился, отделился от земли и беспомощно поплыл вверх с криво повисшими, похожими на поджатые лапы колесами... Два часовых, два голубых солдата в железных касках, стояли с карабинами на плечо возле сходней. Вдруг откуда-то появился перед ними яростно запыхавшийся господин в бобровой шапке, в длинном пальто с бобровым воротником. На руках у него спокойно сидела прелестная синеглазая девочка. Господин, заметно было, повидал виды. Он был замучен, он был так худ, что пальто его, забрызганное грязью, с воротником точно зализанным, висело как на вешалке. А девочка была полненькая, хорошо и тепло одета, в белом вязаном капоре. Господин кинулся к сходням. Солдаты было двинулись к нему, но он так неожиданно и так свирепо погрозил им пальцем, что они опешили, и он неловко вбежал на парокход.

Я стоял на рубке над кают-компанией и с бессмысленной пристальностью следил за ним. Потом так же тупо стал смотреть на туманившийся на горе город, на гавань. Темнело, орудийная, а за нею и ружейная стрельба смолкла, и в этой тишине и уже спокойно надвигающихся сумерках чувствовалось, что дело уже сделано, что город сдался... В городе не было ни одного огня, порт был пуст, – «Патрас» уходил последним. За рейдом терялась в сумрачной зимней мгле пустыня голых степных берегов. Вскоре пошел мокрый снег, и я, насквозь промерзнув за долгое стояние на рубке, побежал вниз. Мы уже двигались, – все плыло подо мною, набережная косяком отходила прочь, туманно-темная городская гора валилась назад... Потом шумно

заклубилась вода из-под кормы, мы круто обогнули мол с мертвым, темным маяком, выровнялись и пошли полным ходом... Прощай, Россия, бодро сказал я себе, сбегая по трапам.

II

Пароход, конечно, уже окрестили Ноевым ковчегом, – человеческое остроумие не богато. И точно, кого только не было на нем! Были крупнейшие мошенники, обремененные наживой, покинувшие город спокойно, в твердой уверенности, что им будет неплохо всюду. Были люди порядочные, но тоже пока еще спокойные, бежавшие впервые и еще не вполне сознавшие всю важность того, что случилось. Были даже такие, что бежали совсем неожиданно для себя, что просто заразились общим бегством и сорвались с места в самую последнюю минуту, без вещей, без денег, без теплой одежды, даже без смены белья, как, например, какие-то две певички, не к месту нарядные, смеявшиеся над своим нечаянным путешествием, как над забавным приключением. Но преобладали все же настоящие беженцы, бегущие уже давно, из города в город, и наконец добежавшие до последней русской черты.

Три четверти людей, сбившихся на «Патрасе», уже испытали несметное и неправдоподобное количество всяких потерь и бед, смертельных опасностей, жутких и нелепых случайностей, мук всяческого передвижения и борьбы со всяческими препятствиями, крайнюю тяготу телесной и душевной нечистоты, усталости. Теперь, утратив последние остатки человеческого благополучия, растеряв друг друга, забыв всякое людское достоинство, жадно таща на себе последний чемодан, они сбежались к этой последней черте, под защиту счастливых, далеких от всех их страданий и потому втайне гордящихся существ, называемых французами, и эти французы дозволили им укрыться «от последней гибели в то утлое, тесное, что называлось «Патрасом» и что в этот зимний вечер вышло со всем своим сбродом навстречу мрачной зимней ночи, в пустоту и даль мрачного зимнего моря. Что должен был чувствовать весь этот сброд? На что могли надеяться все те, что сбились на «Патрасе», в том совершенно загадочном, что ожидало их где-то в Стамбуле, на Кипре, на Балканах? И, однако, каждый из них на что-то надеялся, чем-то еще жил, чему-то еще радовался и совсем не думал о том страшном морском пути в эту страшную зимнюю ночь, одной трезвой мысли о котором было бы достаточно для полного ужаса и отчаяния. По милости Божьей, именно трезвости-то и не бывает у человека в наиболее роковые минуты жизни. Человек в эти минуты спасительно тупеет.

Всюду на пароходе все было загромождено вещами и затоптано грязью и снегом. Всюду была беспорядочная теснота и царило оживление табора, людей только что спасшихся, страстно стремившихся спастись во что бы то ни стало и вот наконец добившихся своего, после всех своих мучений и страхов наконец поверивших, что они спасены, что они уже вне опасности и что они живы, – что бы там ни было впоследствии! Человек весьма охотно, даже с радостью освобождается от всяческих человеческих уз, возвращается к первобытной простоте и неустроенности, к дикому образу существования, – только позволь обстоятельства, только будь оправдание. И на «Патрасе» все чувствовали, что теперь это позволено, что теперь это можно – не стыдиться ни грязных рук, ни потных под шапками волос, ни жадной еды не вовремя, ни неумеренного куренья, ни разворачивания при посторонних своего скарба, нутра своей обычно сокровенной жизни.

Всюду были узлы, чемоданы и люди: и в рубке над кают-компанией, где поминутно хлопала тяжелая дверь на палубу и несло сырым ветром со снегом, и на лестнице в кают-компанию, и под лестницей, и в столовой, где воздух был уже очень испорченный. Трудно было пройти от тех нестесняющихся и опытных, предусмотрительных господ, что уже захватывали себе местечко, располагались по полу со своими постелями и семьями. Прочие, спотыкаясь на эти постели, перепрыгивая через узлы и чемоданы, наталкиваясь друг на друга, бегали с чайниками за кипятком, тащили где-то добытые – за какие угодно деньги и чем дороже, тем радостнее! – огромные белые хлеба, торжествуя друг перед другом своей ловкостью, настойчивостью и даже бессовестностью. Столы завалили съестным, сидели за ними тесно, в шапках и калошах,

поспешно ели и пили, сорили яичной скорлупой, угощали друг друга колбасой и салом, со смехом рассказывая, что вчера мужик на базаре содрал вот за этот кусок четыре тысячи «думскими», пробивали перочинными ножами брызгающие рыжим маслом жестянки... Длинный господин, явившийся на пароход последним, несколько раз пробежал по столовой с коробкой консервированного молока в руке, – где-то устроил свою девочку и хлопотал накормить ее. Вид у него был все такой же грозный и решительный, и еще заметнее было теперь, – он был без пальто, – как худа его шея, как велика бобровая шапка, как мягки и сальны длинные волосы.

III

Под лестницей была особенно гнусная теснота, образовались две нетерпеливых очереди – одна возле нужников, в двери которых ожидающие поминутно стучали, и другая возле лакеев, раздававших красное вино, наливавших его из бочки в бутылки, кружки и чайники, с которыми толпились беженцы. Вино было даровое, и потому воспользоваться им хотелось всем, даже и непьющим. Я скорее многих других пробился к лакеям, получил целый литр и, возвратясь в столовую и пристроившись к уголку стола, стал медленно пить и курить.

Только что разнесся слух, что перед самым нашим отходом из порта было получено на «Патрасе» страшное радио: два парохода, тоже переполненные такими же, как мы, и вышедшие раньше нас на сутки, потерпели крушение из-за снежной бури – один у самого Босфора, другой у болгарских берегов. И новая угроза повисла над нами, новая неопределенность – дойдем ли мы до Константинополя, и если дойдем, то когда? Ни курить, ни пить мне не хотелось; сигара была ужасная, вино холодное, лиловое. Но я сидел, пил и курил. Уже началось то напряженное ожидание, которым живешь в море при опасных переходах. «Патрас» был стар, перегружен, погода разыгрывалась с каждой минутой все круче... Большинство утешало себя тем, что мы идем быстро, уверенно. Но я, по своей морской опытности, хорошо знал, что быстрота эта только кажущаяся. Это не мы увеличивали ход, это росло волнение.

Вода уже шумно неслась вдоль наших тонких стен, все чаще и все яростнее накатывая с боков, все тяжелее стучая в стены и с плеском, шипением ссыпаясь с них. За стенами была непроглядная ночь, горами, без толку, без смысла, ходило мрачное, ледяное, зимнее море. В черные стекла ливнем летели брызги, лепило мокрым белым снегом, свистел, крепко дул ветер, холодное дыхание которого то и дело чувствовалось в дымном, жарком и уже вонючем воздухе низкой столовой, все-таки радовавшей своим светом и теплом, тем уютом, которого так первобытно жаждет человеческое сердце, еще помнящее страхи древней жизни, пещерных, свайных дней. И я тоже неосознанно радовался этому свету и теплу, сидя за своей бутылкой; слушал говор, галду своих спутников, чего-то ждал и что-то думал, – вернее, все собирался что-то обдумать и понять как следует. Стало уже упруго подымать и опускать, стало валить на сторону, скрипеть переборками, диванами и креслами, в которых мы сидели. «Патрас» будто быстро шел среди качавшихся, расступавшихся и опять с плеском и шумом сходящихся водяных гор, шел, весь дрожа, и что-то работало внутри него все торопливее, с перебоями, с перерывами выделявая «траттататата». Вдруг ветер налетел и засвистал бешено, волна ударила так тяжело и, освещенная нашим огнем, так страшно заглянула своей мутной слюдой, своей громадой в стекла, что многие вскрикнули и повалились друг на друга, думая, что мы уже гибнем... Потом все опять пришло в порядок, опять пошло с дрожью и перерывами это «траттататата», – и вдруг опять ударило, и опять дико засвистало и глубоко окунуло, опустило в расступившуюся водяную пропасть... «Началось!» – подумал я с нелепой радостью.

Вскоре стол опустел. Большинство стонало, томилось, – с надрывом, с молящими криками извергало из себя всю душу, валялось по диванам, по полу или поспешно, падая и спотыкаясь, бежало вон из столовой. То тут, то там кого-нибудь безобразно хлестало, а выбегающие махали дверями, и сырой холод стал мешаться с кислым зловонием рвоты. Уже нельзя было ни ходить, ни стоять, убежать надо было опрометью, сидеть – упираясь спиной в кресло, в стену, а ногами в стол, в чемоданы. Все так же казалось, что размахивающийся и вправо, и влево, и вверх, и вниз пароход идет с бешеной поспешностью, внутри его грохотало уже неистово, и перерывы, отдыхи в этом грохоте казались мгновениями счастья... А наверху был сущий ад. Я допил вино, докурил сигару и, падая во все стороны, побрел в рубку. Я одолел лестницу и пробовал одолеть дверь наружу, выглянуть – ледяной ветер перехватывал дыхание, резал глаза, слепил снегом, с звериной яростью валил назад... Обмерзлые, побелевшие маты

и снасти ревели и свистали с остервенелой тоской и удалю, студенистые холмы волн перекатывались через палубу и опять, опять росли из-за борта и страшно светились взмыленной пеной в черноте ночи и моря... Крепко прохваченный холодом и морской свежестью, я насилу добрался назад до столовой, потом до своей каюты, по некоторым причинам предоставленной в мое распоряжение. Там было темно и все скрипело, возилось, точно что-то живое, борющееся. Проклятый корабельный пол, косой, предательский, зыбко уходил из-под ног. И, когда он уходил особенно глубоко, в стену особенно тяжело ударяла громада воды, все старавшаяся одним махом сокрушить и захлестнуть «Патрас». Но «Патрас» только глубоко нырял под этим ударом и снова пружинил наружу, где на него обрушивался новый враг – налетал ураган со снегом, насквозь пронзавший мокрые стены своим ледяным свистящим дыханием...

IV

И не раздеваясь, – раздеться было никак нельзя, того гляди, расшибет об стену, об умывальник, да и слишком было холодно, – я нащупал нижнюю койку и, улучив удобную минуту, ловко повалился на нее. Все ходило, качалось, дурманило. Бухало в задраенный иллюминатор, с шумом стекало и бурлило – противно, как в каком-то чудовищном чреве. И, понемногу пьянея, отдаваясь все безвольнее в полную власть всего этого, я стал то задремывать, то внезапно просыпаться от особенно бешеных размахов и хвататься за койку, чтобы не вылететь из нее. Труба в раковинке, его сточная дыра гудела, гудела – и вдруг начинала булькать, реветь и захлебываться... Ах, встать бы, заткнуть чем-нибудь это анафемское горло! Но не было воли даже приподняться, как ни готовился я вот-вот решиться на это. И потекли часы за часами, и стало казаться, что уже никогда не минет эта мука качания, эта ночь, этот мрак, завывание, шум, плеск, шипение и все новые и новые удары то и дело налетающих откуда-то из страшной водной беспредельности волн...

В полусне, в забытии я что-то думал, что-то вспоминал... Пришло в голову и стало повторяться, баюкать:

Гром и шум, корабль качает,
Море Черное шумит...

– Как дальше? – в полусне спрашивал я себя. – Ах да!

Снится мне – я свеж и молод...
От зари роскошный холод
Проникает в сад...

Как все это далеко и ненужно теперь! Так только, грустно немного, жаль себя и еще чего-то, а за всем тем – бог с ним! И опять повторялись стихи и опять путались, опять клонили в сон, в дурман, и опять все лезло куда-то вверх, скрипело, боролось – и все лишь затем, чтобы опять неожиданно разрешиться срывом, а за ним новым пружинным подъемом, и новым шипением бурлящей, стекающей воды, и пахучим холодом завывающего ветра, и клокочущим ревом захлебывающегося умывальника... Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило; да, так вот оно что – я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России – конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?

Париж. 1921

Косцы

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее – и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки.

Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь срединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут...

Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой – или благословенной – Богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», несознанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, – в обычае, в повадке, в языке, – опрятней и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми, ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубашками с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, – так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, – потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведенными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:

– Хлеб-соль, здравствуйте.

Они приветливо ответили:

– Доброго здоровья, милости просим!

Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмеялись:

– Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный друг!» – подвигались по березовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чем такая дивная прелесть их песни.

Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и

они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами – и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим свежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была – Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось – человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздохнуть, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «родимой сторонешкой», и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости-прощай, любезный друг,
И, родимая, ах да прощай, сторонешка, —

говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадежной укоризной.

Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,
По тебе ли сердце черней грязи сделалось! —

говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, – точно встряхивали головами и кидали на весь лес:

Коль не любишь, не мил – бог с тобою,
Коли лучше найдешь – позабудешь, —

и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдешь – позабудешь,
Коли хуже найдешь – пожалеешь!

В чем еще было очарование этой песни, ее неизбывная радость при всей ее будто бы безнадежности? В том, что человек все-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадежность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» – говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» – говорил человек – и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг – беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. «Закатилось солнце красное за темные леса, ах, все птички приумолкли, все садились по местам!» Закатилось мое счастье, вздыхал он, темная ночь с ее глушью обступает меня, – и все-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чье-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитятко!» И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалеющая его «по его младости». Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклęcia, чудодейные опять-таки по вере его, улетап из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, черные топи болотные, пески летучие – и прощал милосердный Бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие...

Еще одно, говорю я, было в этой песне – это то, что хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далекие – и невозвратимые. Ибо всему свой срок, – миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рысчущие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклęcia, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи – и настал конец, предел Божьему прощению.

Париж. 1921

Полуночная зарница

Изба в густом майском лесу, перед ней поляна, среди поляны раскидистая яблоня, лесовка, вся белая и кудрявая от цвета. Солнце уже село за лесом, но еще долго будет светло. Все свежо, молодо, всего преизбыток – зелени, цветов, трав, соловьев, горлинок, кукушек. И сладко, лесом, цветами, травами, пахнет легкий холодок зари. За теми чашами, над которыми светлая пустота весеннего заката и которые спускаются в лесные овраги, розовеющим зеркалом сквозит пруд, и в нем иногда квохчет лягушка, томно, изнемогая от наслаждения. Соловьи низко перелетают над поляной, гоняются друг за другом, на лету цокают, трещат.

Верховая лошадь, кажущаяся под седлом еще легче и красивее, стоит под яблоней. Она тянется мордой к мелкой листве среди белых цветов, обрывает ее и все время звучно жует. А я сижу на пне возле избы, и мне приятно, что я здоров, молод, что я хорошо езжу и что лошадь ценит это, любит меня, что она так женственна и породиста, что она с одинаковым удовольствием покоряется мне во всем – принимает на себя седло, чувствует крепко охватившие ее подпруги, идет крупным, вольным шагом или во весь опор скачет, стоит возле крыльца, на меже в поле, под деревом в лесу...

В избе, на лавке возле окошка, – девочка лет трех, в чепчике. Она занята тем, что бьет себя по губам: бам, бам, бам! За ней, внутри избы, темно и жарко.

Широта и глубина светлого заката сократилась, померкла. В бездонной высоте, сереющей над поляной, парами налетают вальдшнепы, на мгновение останавливаются – и летят дальше. Лягушка смолкла, – во всем лесу тишина, только щебечут где-то вблизи две птички, да и то как-то безжизненно, перед сном. И все чаще, все страннее смотрит вверх, на сереющую синеву, где уж мелко проступают первые зерна звезд, горбатая девка, смирно сидевшая весь вечер на траве неподалеку от яблони.

Вверху – небо, вправо – померкшая заря, впереди, за яблоней, – далекие красноватые просветы в черных лесных низах. И я тоже смотрю – то ввышину, то на эти просветы, то на лошадь, то на девку – и тогда она, не глядя, тотчас чувствует мой взгляд и стыдливо подбирает ноги, оправляет платье. Она чисто и приятно одета. Лицо у нее слегка широкоскулое, но тонкое, озаренное прозрачной бледностью. Трогательно ее ожерелье на худых ключицах, девичья льняная сорочка, маленькие босые ноги – и странен, даже немного страшен ее частый и несмелый взгляд в небо.

Подходит ее мать – воротилась из села, принесла мешочек пшена, связку кренделей.

Поздоровавшись со мной, садится на порог избы, вздыхает:

– Была в селе, купила кой-чего... А вы давно тут? Анютка не плакала? На нее надежды нету, – говорит она, разумея горбатую, которая слушает так, будто говорят не про нее, а про кого-то другого, – она у нас, сами знаете, какая...

Я знаю, но баба подробно и не спеша рассказывает или скорее вслух передумывает все то, что я слышал уже много раз:

– Что ж, дошло до того, что два раза из омута вынимали... Пришла я как-то из села, а она в пруде по горло, топиться хочет... А наемдни с осинки сняла: собираю сушь в лесу, глядь, а она висит на суку, еле ногами травы касается, – уж краски по лицу пошли... «Все, говорит, ходит *Он* ко мне, душит, настигает...» Ночью проснусь, а она задыхается, кричит: «Что ты? Что ты? Пусти, не хочу!» А самой, по голосу слышу, лестно, сладко... Спать без того не ложится, – молится, приговаривает: «Не надейся, не надейся, с собой не положу! Всю постелю закрепчу!» Тает, на нет сошла, осталось нарядить да в гроб положить... Уж я с ней работы и не спрашиваю, грех и спрашивать... Куда вся храбрость девалась, а прежде чистый огонь была, нежная, обидчивая... Дело молодое, тайное, какой только думки в голове нету! Иной раз проговорится, – глаза потупит, покраснеет и шепчет: «Ну что ж, ну, горбатая, а все

лицом не хуже других... Ну и пускай никто не возьмет, постыдится с такой-то под венец стать... Найду себе получше дружка, потаенного, полуночного...» Какой страшный грех говорит, а все думается – помрет, все Господь простит...

Девка сидит прямо, неподвижно, не слушает, пристально и странно глядит в темноту леса...

Домой еду полями. Земля залита темнотой, темнота поднимается снизу, затопляет далекую зарю, последний след ее. Свежо – пахнет и зеленью уже поднявшихся ржей, и росистой травой на межах, и всем тем, полевым, ночным, среди чего я родился, вырос, чем так сладко живу...

Баба говорила: «Я сплю с Анюткой, на нарах, а она на конике, под святыми... Ночью проснусь – сидит, в окошечко на звезды, на ночь, на лес смотрит... У меня, говорит, звезда любимая есть, верная, неизменная, Полуночная Зарница...»

Полуночная Зарница. Звезда любви, Звезда предрассветная.

Лошадь идет подбористо, точно чувствует мои думы, – видны ее настороженные уши на слабом свете зари... О, красавица, умница, любимая моя! Как передать словами нашу с тобой близость, нашу любовь, – нет тоньше, таинственней и чище этой любви, навеки безмолвной, навеки верной, не обманывающей, любви между человеком и животным!

А этот, теперь уже темный и такой зловещий, лес и она, эта страшная и прекрасная горбунья? Мать, верно, уже спит, а она, живая покойница, сидит на лавке под святыми, глядит, слушает – одна во всем мире, – и все, кроме человека, все с ней и в ней – и ночь, и лес, и вся вселенная, вся тайна ее – и уж так с ней и в ней, как нам никому не дано, потому что уже совсем вне нашего мира она, уже во власти этого Потаенного, Полуночного, чья дивная и грозная Звезда горит перед зарею над лесом...

И я обнимаю и целую сильную атласную шею своей бессловесной возлюбленной, чтобы слышать ее грубый запах, чтобы чувствовать земную плоть, потому что без нее, без этой плоти, мне слишком жутко в этом мире, и натягиваю поводья, и лошадь тотчас же отвечает мне всем своим существом – и легко, горячо несет меня по темной дороге к дому.

Париж. 1921

Преображение

Двор был богатый, семья большая.

Старик, наплодив детей и внуков, в свое время помер, но старуха зажила и жила так долго, что, казалось, никогда не будет конца ее жалкому и нудному существованию.

Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место, грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали как-то теряться среди все увеличивающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать ей свою волю и наконец совсем сошли на нет, захирели, высохли, сгорбились, забились на полати, на печь, отчудились сперва от семьи, а потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам.

После смерти старика старуха почувствовала себя особенно неловко на белом свете – и сократилась до последнего, совсем как будто забыла, что ведь все это молодое, сильное царство, в котором она стала такой ненужной, развела она, она. Вышло как-то так, что оказалась она самым ничтожным существом во всем дворе, живущим в нем точно из милости, годным лишь на то, чтобы ютиться на жаркой печи зимою, а летом цыплят стеречь, избу караулить в рабочую пору... Кому бы пришло в голову бояться ее, думать о ней!

Но вот захворала уже как следует, забила на печь уже без всякого притворства, закрыла глаза, дыша горячо и беспомощно, с такой великой усталостью, что даже у плечистых невесток повернулось сердце от жалости. «Мамушка, ай тебе курятинки сварить либо лапшицы молочной? Может, хочется чего? Может, самовар поставить?» А она только дышит в забытии, только слабо и благодарно рукой шевелит...

Наконец развязала всех – отошла.

* * *

Глубокая ночь, зима. Ночь для нее, среди живых, последняя. На дворе метель и темь, вся деревня спит. Спит и весь двор, – обе жилые связи полны спящими, – и над всей этой зимней ночью и метелью, сном и глушью двора и деревни царит Мертвая: вчерашняя жалкая и забитая старушонка преобразилась в нечто грозное, таинственное, самое великое и значительное во всем мире, в какое-то непостижимое и страшное божество – в покойницу.

Она лежит в холодной половине – уже в гробу, снеговая, белая, глубоко уйдя в свой гробный мир, уткнув в грудь приподнятую соломенной подушкой голову, и падает тень от чернеющих, выделившихся на белом лице ресниц. Гроб, прикрытый легким от ветхости парчовым покровом, взятым напрокат из церкви, стоит за столом, ярко озаренным целым пучком восковых свечей, прилепленных к нему и пылающих жарко и беспокойно. Гроб стоит под святыми, на лавке возле окошечка, за которым идет морозная метель, черные стекла которого блестят, искрятся снегом, снаружи намерзающим на них.

Псалтырь читает Гаврил, младший сын покойной, недавно женившийся. Он всегда выделялся в семье своей разумностью и опрятностью, ровным нравом, любовью к чтению, к церковным службам – кому ж читать, как не ему? И он пошел в эту ледяную избу просто, ничуть не боясь предстоящей ему долгой ночи наедине с мертвой, не думая об этой ночи, не представив себе, что ждет его, – и вот уже давно чувствует, что случилось нечто роковое и непоправимое в его жизни. Он стоит и читает, наклонясь к жарким и дрожащим свечам, читает, не смолкая, все на один лад, – как поднял голос по-церковному, так и остался на высокой ноте, – читает,

ничего не понимая и не в силах прекратить чтения. Он чувствует, что ему уже нет спасения, что он совершенно один не только в этой ледяной избе, глаз на глаз с этим страшным существом, которое тем страшнее, что это его родная мать, но и в целом мире: что ночь так глубока, глуха, что ему уже не от кого ждать защиты и помощи.

Что с ним случилось? То, что он не рассчитал своих сил, решившись читать над покойницей ночью, в час всеобщего сна, что его обуяло ужасом и что он не может двинуться? Нет, случилось нечто гораздо более страшное и дивное, случилось нечто чудесное, и он поражен не ужасом, а именно этим чудесным, таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь, куда она девалась, та жалкая, маленькая, убогая от старости, робости и беспомощности, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье? Ее уже нет, она исчезла, – разве это она, вот это Нечто, ледяное, недвижимое, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как Бог? Разве то, что лежит и молчит в этом новом, красивом гробу, обитом лиловым плисом с белыми крестами и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что еще позавчера ютилась на печке? Нет, совершилось с ней некое преобразование – и все в мире, весь мир преобразился ради нее. И он один, один в этом преображенном мире!

Он волшебным образом замкнут в нем, и он должен стоять в нем до рассвета и читать, не смолкая, на том необычном, жутком и величественном языке, который тоже есть часть этого мира, его гибельный, зловещий для живых глагол. И он собирает все силы, чтобы читать, видеть, слышать свой собственный голос и держаться на ногах, всем существом и все глубже воспринимая то невыразимо чарующее, что, как некая литургия, совершается в нем самом и перед ним. И вдруг медленно приподнимается и еще медленнее опускается парчовый покров на груди покойницы – она медленно дышит! И еще выше и ярче растет, дрожит, ослепляет блеск свечей – и уже все вокруг превращается в какой-то сплошной восторг, от которого деревенеет голова, плечи, ноги. Он знает, он еще соображает, что это морозный ветер дует в окно, за которым идет метель, что это он поддувает покров и раздувает свечи. Но все равно – этот ветер тоже она, усопшая, это от нее веет этим неземным, чистым, как смерть, и ледяным дыханием, и это она встанет сейчас судить весь мир, весь презренный в своей животности и бренности мир живых!

Теперь Гаврило моложавый мужик с седыми, аккуратно причесанными волосами. Он не хозяйствует, предоставил хозяйство братьям, жене. Он избрал себе дело, ненужное при его достатке, но единственное любимое им – ездить ямщиком.

Он всегда в дороге, и дорога, даль, меняющиеся по времени года картины неба, полей, лесов, облучок тележки или саней, бег пары верных ему умных лошадей, звук колокольчика и долгий разговор с приятным седоком – счастье, никогда ему не изменяющее.

Он простой, ласковый. Лицо у него чистое, худощавое, серые глаза правдивы и ясны. Он не говорлив, но охотно рассказывает достойному человеку то трудно передаваемое, похожее на святочный рассказ, а на деле истинно дивное, что пережил он у гроба матери, в ее последнюю ночь среди живых.

Париж. 1921

Далекое

Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил да был вместе со мною на Арбате, в гостинице «Северный полюс», некий неслышный, незаметный, скромнейший в мире Иван Иванович, человек уже старенький и довольно потрепанный.

Из году в год жила, делала свое огромное дело Москва. Что-то делал, зачем-то жил на свете и он. Часов в девять он уходил, в пятом возвращался. О чем-то тихо, но ничуть не печально думая, он снимал с гвоздя в швейцарской свой ключ, поднимался во второй этаж, шел по коленчатому коридору. В коридоре очень сложно и очень дурно пахло и особенно чем-то тем, душным и резким, чем натирают полы в дрянных гостиницах. Коридор был темный и зловещий (номера выходили окнами во двор, а стекла над их дверями давали мало света), и весь день горела в конце каждого его колена лампочка с рефлектором. Но казалось, что Иван Иванович не испытывал ни малейшей доли тех тяжких чувств, которые возникали насчет коридора у людей, не привыкших к «Северному полюсу». Он шел по коридору спокойно и просто. Встречались ему его сожители: бодро спешащий, с молодой бородой и ярким взглядом студент, на ходу надевавший шинель в рукава; независимого вида стенографистка, рослая, манящая, несмотря на свое сходство с белым негром; старая маленькая дама на высоких каблучках, всегда наряженная, нарумяненная, с коричневыми волосами, с вечным клокотанием мокроты в груди, о встрече с каковой дамой предупреждал быстро бегущий по коридору лепет бубенчиков на ее курносом морде с выдвинутой нижней челюстью, с яростно и бессмысленно вытупленными глазами... Иван Иванович вежливо со всеми встречными раскланивался и ничуть не претендовал на то, что ему едва кивали в ответ. Он проходил одно колено, заворачивал в другое, еще более длинное и черное, где еще дальше краснела и блистала впереди стенная лампочка, совал ключ в свою дверь – и уединялся за нею до следующего утра.

Чем он у себя занимался, как коротал свой досуг? А бог его знает. Домашняя его жизнь, ничем внешним не проявляемая, никому не нужная, была тоже никому не ведома – даже горничной и коридорному, нарушавшим его затворничество только подачей самовара, уборкой постели и гнусного умывальника, из которого струя воды была всегда неожиданно и не на лицо, не на руки, а очень высоко и в сторону, вкось. С редкой, повторяю, незаметностью, с редким однообразием существовал Иван Иванович. Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, звенели конки по Арбату, непрерывно спешили куда-то, навстречу друг другу, люди, трещали извозчичьи пролетки, кричали разносчики с лотками на головах, к вечеру в далеком пролете улицы сияло золотисто-светлое небо заката, музыкально разливался над всеми шумами и звуками басистый звон с шатровой, древней колокольни: Иван Иванович как будто даже и не видел, не слышал ничего этого. Ни зима, ни весна, ни лето, ни осень не оказывали ни малейшего видимого влияния ни на него, ни на образ его жизни. Но вот, однажды весной, приехал откуда-то, взял номер в «Северном полюсе» и стал ближайшим соседом Иван Ивановича какой-то князь. И произошло с Иваном Ивановичем нечто совершенно неожиданное, негаданное.

Чем мог поразить его князь? Конечно, не титулом, – была же старейшая сожительница Ивана Ивановича, маленькая дама с мопсом, тоже особой титулованной, и, однако, не чувствовал он к ней ровно ничего. Чем мог пленить? Конечно, не богатством и не внешностью, – князь был очень прожившийся человек, а на вид очень запущенный, нескладно огромный, с мешками под глазами, с шумной, тяжелой одышкой. И все-таки был Иван Иванович и поражен и пленен, а главное, совсем вон выбит из своей долголетней колеи. Он превратил свое существование в какое-то непрестанное волнение. Он поверг себя в тревожное, мелкое и постыдное обезьянство.

Князь приехал, поселился, стал уходить и приходить, с кем-то видаться, о чем-то хлопотать, – совершенно так же, разумеется, как делали это все, которые останавливались в «Северном полюсе», которых перебивало на памяти Иван Ивановича великое множество и навязы-

ваться на знакомство с которыми Ивану Ивановичу и в голову не приходило. Но князя он почему-то из всех отличил. Перед князем он, при второй же или третьей встрече в коридоре, почему-то расшаркался, представился и со всяческими любезнейшими извинениями попросил сказать как можно точнее, который час. А завязав таким ловким образом знакомство, просто влюбился в князя, привел в полное расстройство весь свой обычный жизненный уклад и рабски стал подражать князю чуть не на каждом шагу.

Князь, например, ложился спать поздно. Он возвращался домой часа в два ночи (и всегда на извозчике). Стала и у Ивана Ивановича гореть до двух часов лампа. Он зачем-то ждал возвращения князя, его грузных шагов по коридору, его свистящей одышки. Он ждал с радостью, чуть не с трепетом и порою даже высовывался из своего номерка, чтобы видеть подходящего князя, поговорить с ним. Князь шел не спеша, как бы не видя его, и всегда спрашивал одно и то же, глубоко безразличным тоном:

– А, а вы еще не спите?

И Иван Иванович, замирая от восторга, хотя, впрочем, без всякой робости и без всякого подобострастия, отвечал:

– Нет, князь, не сплю еще. Время детское, всего десять минут третьего... Гуляли, развлекались?

– Да, – говорил князь, сопя и не попадая ключом в дверную скважину, – встретил старого знакомого, зашли, посидели в трактире... Покойной ночи...

Тем все дело и кончалось, так холодно, хотя и вежливо, обрывал князь свою ночную беседу с Иван Ивановичем, но с Иван Ивановича и этого было достаточно. На цыпочках возвращался он к себе, привычно делал все то, что полагается перед сном, немножко крестился и кивал в угол, неслышно укладывался в постель за перегородкой и тотчас же засыпал, совершенно счастливый и совершенно бескорыстный в дальнейших намерениях своих насчет князя, если не считать невиннейшего вранья коридорному утру:

– А я вчера опять засиделся... Опять заговорились с князем до третьих петухов...

Князь с вечера выставлял за дверь свои большие растоптанные башмаки и вывешивал широчайшие серебристые панталоны. Стал и Иван Иванович выставлять свои сморщенные сапожки, которые чистились прежде в двенадесятые праздники, и вывешивать брючки с оборванными пуговицами, которые прежде не вывешивались никогда, даже под Рождество, под Пасху.

Князь просыпался рано, страшно кашлял, с жадностью закуривал толстую папиросу, кричал, отворив дверь в коридор, на весь дом: «Коридорный! Чаю!» – и, шлепая туфлями, в халате, надолго уходил за нуждой. Стал и Иван Иванович делать то же, – кричал в коридор о самоваре и, в калошах на босу ногу, в летнем пальтишке на заношенном белье, бежал и себе за нуждой, хотя прежде бегал он туда всегда вечером.

Князь однажды сказал, что он очень любит цирк и часто бывает в нем. Решил сходить в цирк и Иван Иванович, никогда цирка не любивший, бывший в цирке не менее сорока лет тому назад, и однажды сходил-таки и с восхищением рассказал ночью князю, какое он получил огромное наслаждение...

Ах, весна, весна! Все дело было, верно, в том, что происходил весь этот вздор весной.

Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. Той далекой московской весной этот обман был особенно сладок и силен – для меня по моей молодости и потому, что кончались мои студенческие годы, а для многих прочих просто по причине весны, на редкость чудесной. Каждая весна праздник, а та весна была особенно празднична.

Москва прожила свою сложную и утомительную зиму. А потом прожила Великий пост, Пасху и опять почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалила с плеч, дождалась чего-то настоящего. И было множество москвичей, которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь, начать ее как бы сначала и уже по-иному, чем прежде, зажить разумнее, правиль-

нее, моложе и спешили убирать квартиры, заказывать летние костюмы, делать покупки, – а ведь покупать (даже нафталин) весело! – готовились, одним словом, к отъезду из Москвы, к отдыху на дачах, на Кавказе, в Крыму, за границей, вообще к лету, которое, как всегда кажется, непременно должно быть счастливым и долгим-долгим.

Сколько прекрасных, радующих душу чемоданов и новеньких, скрипящих корзин было куплено тогда в Леонтьевском переулке и у Мюра-Мерилиза! Сколько народу стриглось, брилось у Базиля и Теодора! И один за другим шли солнечные, возбуждающие дни, дни с новыми запахами, с новой чистотой улиц, с новым блеском церковных маковок на ярком небе, с новым Страстным, с новой Петровкой, с новыми светлыми нарядами на щеголихах и красавицах, пролетавших на легких лихачах по Кузнецкому, с новой светло-серой шляпой знаменитого актера, тоже быстро пролетавшего куда-то на «дутых». Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было, жизни, и чуть не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой, – был он и у меня, у меня даже особенно, гораздо больше других, как казалось мне тогда. И все близился и близился срок моей разлуки с «Северным полюсом», со всем тем, чем жил я в нем по-студенчески, и с утра до вечера был я в хлопотах, в разъездах по Москве, во всяческих радостных заботах. А что же делал мой сосед по номерам, скромнейший современник наш? Да приблизительно то же, что и мы. С ним случилось в конце концов то же самое, что и со всеми нами.

Шли апрельские и майские дни, неслись, звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали извозчичьи пролетки, нежно и грустно (хотя дело шло лишь о спарже) кричали разносчики с лотками на головах, сладко и тепло пахло из кондитерской Скачкова, стояли кадки с лаврами у подъезда «Праги», где хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане, день незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на западе и музыкально разливался над счастливой, людной улицей басистый звон с шатровой колокольни... День за днем жил весенний город своей огромной, разнообразной жизнью, и я был одним из самых счастливых участников ее, жил всеми ее запахами, звуками, всей ее суетой, встречами, делами, покупками, брал извозчиков, входил с приятелями в кафе Трамбле, заказывал в «Праге» ботвинью, закусывал рюмку холодной водки свежим огурчиком... А Иван Иваныч? А Иван Иваныч тоже куда-то ходил, тоже где-то бывал, делал что-то свое, маленькое, чрезвычайно маленькое, приобретая за это право на дальнейшее существование среди нас, то есть на обед за тридцать копеек в кухмистерской напротив «Северного полюса» и на номер в «Северном полюсе». Он только это скромное право зарабатывал себе где-то и чем-то и, казалось, был совершенно чужд всем нашим надеждам на какую-то новую жизнь, на новый костюм, новую шляпу, новую стрижку, на то, чтобы с кем-то в чем-то сравняться, завести знакомство, дружбу... Но вот приехал князь.

Чем мог он очаровать, поразить Ивана Иваныча? Но ведь не важен предмет очарования, важна жажда быть очарованным. Был, кроме того, князь человеком с остатками широких замашек, человеком глубоко прожившимся, но, значит, и пожившим в свое время как следует. Ну вот и возмечтал бедный Иван Иваныч зажить и себе по-новому, по-весеннему, с некоторыми замашками и даже развлечениями. Что ж, разве это плохо – не заваливаться спать в десять часов, вывешивать для чистки штаны, ходить за нуждой до умывания? Разве это не молодит – зайти постричься, подровнять, укоротить бороду, купить молодящую серенькую шляпу и воротиться домой с какой-нибудь покупочкой, хоть с четвертью фунта каких-нибудь пустяков, красиво перевязанных руками хорошенькой приказчицы? И Иван Иваныч, постепенно и все больше входя в искушение, все это по-своему и проделал, то есть исполнил в меру своих сил и возможностей почти все, что исполняли и прочие: и знакомство завел, и обезьянничать стал, – право, не больше других! – и весенних надежд набрался, и некоторую долю весеннего беспутства внес в свою жизнь, и к замашкам приобщился, и бороду подстриг, и с какими-то сверточками в руках стал возвращаться в «Северный полюс» в предвечерний час, и даже больше

того: купил и себе серенькую шляпу и нечто дорожное, – чемоданчик за рубль семьдесят пять, весь в блестящих жестяных гвоздях, – возмечтав непременно съездить летом к Троице или в Новый Иерусалим...

Сбылась ли эта мечта и чем вообще кончился порыв Ивана Ивановича к новой жизни, право, не знаю. Думаю, что кончился он, как и большинство наших порывов, неважно, но, повторяю, ничего определенного сказать не могу. А не могу потому, что вскоре мы все, то есть князь, Иван Иванович и я, в один прекрасный день расстались, и расстались не на лето, не на год, не на два, а навеки. Да, не больше не меньше, как навеки, то есть чтобы уж никогда, ни в какие времена до скончания мира не встретиться, каковая мысль мне сейчас, невзирая на всю ее видимую странность, просто ужасна: подумать только, – никогда! В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие в конце концов одинаковое и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас, всякий раз имея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную. Но, как известно, мы, в общем, весьма далеки от подобных чувств и часто разлучаемся даже с самыми близкими как нельзя более легкомысленно. Так, конечно, расстались и мы, – князь, Иван Иванович и я. Привели однажды перед вечером князю извозчика на Смоленский вокзал, – плохонького, за шесть гривен, – а мне, на Курский, за полтора целковых, на серой резвой кобыле, – и мы расстались, даже и не попрощавшись друг с другом. И остался Иван Иванович в своем мрачном коридоре, в своей клетке с тусклым стеклом над дверью, и разъехались мы с князем в совершенно разные стороны, рассовав во все руки чаевые и севши каждый на свою пролетку, – князь, кажется, довольно равнодушный, а я бодрый, во всем новеньком, смутно ждущий какой-то чудесной встречи в вагоне, в пути... И помню, как сейчас: ехал я к Кремлю, а Кремль был озарен вечерним солнцем, ехал через Кремль, мимо соборов, – ах, как хороши они были, боже мой! – потом по пахучей от всякой москатели Ильинке, где уже была вечерняя тень, потом по Покровке, уже осеняемой звоном и гулом колоколов, благословляющих счастливо кончившийся суетный день, – ехал и не просто радовался и самому себе, и всему миру, а истинно тонул в радости существования, как-то мгновенно, еще на Арбатской площади, позабыв и «Северный полюс», и князя, и Иван Ивановича, и был бы, вероятно, очень удивлен, если бы мне сказали тогда, что навсегда сохранятся и они в том сладком и горьком сне прошлого, которым до могилы будет жить моя душа, и что будет некий день, когда буду я тщетно взывать и к ним:

– Милый князь, милый Иван Иванович, где-то гниют теперь ваши кости? И где наши общие глупые надежды и радости, наша далекая московская весна?

Амбуаз. 1922

Неизвестный друг

7 октября

На этой *carte-illustré*² с таким печальным и величественным видом лунной ночи у берегов Атлантического океана спешу написать Вам мою горячую благодарность за Вашу последнюю книгу. Эти берега – моя вторая родина, это Ирландия, – видите, из какого далека шлет Вам привет один из Ваших неизвестных друзей. Будьте счастливы, и да сохранит Вас Бог.

8 октября

Вот еще один вид той одинокой страны, куда навеки забросила меня судьба.

Вчера под ужасным дождем, – у нас вечный дождь, – ездил по делам в город, случайно купил Вашу книгу и читала ее не отрываясь на возвратном пути на виллу, где мы живем круглый год из-за моего слабого здоровья. От дождя, от туч было почти темно, цветы и зелень в садах были необыкновенно ярки, пустой трамвай шел быстро, кидая фиолетовые вспышки, а я читала, читала и, неизвестно почему, чувствовала себя почти мучительно счастливой.

Прощайте, еще раз благодарю Вас. Хочется еще что-то сказать Вам, но что? Не знаю, не умею определить.

10 октября

Не могу удержаться и опять пишу Вам. Думаю, что Вы получаете таких писем слишком много. Но ведь все это отклики именно тех человеческих душ, для которых и творите Вы. Так зачем же мне молчать? Вы первый вступили в общение со мной, выпустив в свет, то есть и для меня, свою книгу...

И нынче целый день сыплется дождь на наш неестественно зеленый сад, и в комнате у меня сумрачно, и с утра топится камин. Мне хотелось бы сказать Вам многое, но ведь Вы знаете лучше других, как это трудно, почти невозможно – высказывать себя. Я все еще под впечатлением чего-то непонятного и неразрешающегося, но прекрасного, чем я обязана Вам, – объясните, что это такое, это чувство? И что вообще испытывают люди, подвергаясь воздействию искусства? Очарование от человеческой умелости, силы? Возбужденное желание личного счастья, которое всегда, всегда живет в нас и особенно оживает под влиянием чего-нибудь, действующего чувственно, – музыки, стихов, какого-нибудь образного воспоминания, какого-нибудь запаха? Или же это радость ощущения божественной прелести человеческой души, которую открывают нам немногие, подобные Вам, напоминающие, что она все-таки есть, эта божественная прелесть? Вот я что-нибудь читаю, – иногда даже что-нибудь ужасное, – и вдруг говорю: боже, как это прекрасно! Что это значит? Может быть, это значит: как все-таки прекрасна жизнь!

До свиданья, скоро еще напишу Вам. Думаю, что в этом нет никакой не деликатности, что это принято – писать писателям. Кроме того, Вы ведь можете и не читать моих писем... хотя, конечно, мне это будет очень грустно.

Ночью

Простите, это может прозвучать дурно, но не могу не сказать: я не молода, у меня дочь пятнадцати лет, совсем уже барышня, но я была когда-то не совсем дурна и не слишком резко изменилась с тех... Мне все-таки не хочется, чтобы Вы представляли себе меня не такой, какая я есть.

² Почтовая открытка с видом (фр.).

11 октября

Я написала Вам в силу потребности разделить с Вами то волнение, которое произвел на меня Ваш талант, действующий как печальная, но возвышенная музыка. Зачем это нужно – разделить? Я не знаю, да и Вы не знаете, но мы оба хорошо знаем, что эта потребность человеческого сердца неискоренима, что без этого нет жизни и что в этом какая-то великая тайна. Ведь и Вы пишете только в силу этой потребности и даже более – Вы отдаете ей всего себя всецело.

Я всегда много читала, – и много вела дневников, как все неудовлетворенные жизнью люди, – много читаю и теперь, читала и Вас, но мало, больше знала Вас лишь по имени. И вот эта Ваша новая книга... Как это странно! Чья-то рука где-то и что-то написала, чья-то душа выразила малейшую долю своей сокровенной жизни малейшим намеком, – что может выразить слово, даже такое, как Ваше! – и вот вдруг исчезает пространство, время, разность судеб и положений, и Ваши мысли и чувства становятся моими, нашими общими. Поистине только одна, единая есть душа в мире. И разве не понятен после этого мой порыв написать Вам, что-то высказать, что-то разделить с Вами, на что-то пожаловаться? Разве Ваши произведения не то же самое, что мои письма к Вам? Ведь и Вы что-то и кому-то высказываете, посылаете свои строки кому-то неведомому и куда-то в пространство. Ведь и Вы жалуетесь, чаще всего только жалуетесь, потому что жалоба, иными словами, мольба о сочувствии, наиболее неразлучна с человеком: сколько ее в песнях, молитвах, стихах, любовных излияниях!

Может быть, Вы ответите мне, хотя двумя словами? Ответьте!

13 октября

Опять пишу Вам ночью, уже в спальне, мучимая непонятным желанием сказать то, что так легко обозвать наивностью, что скажется, во всяком случае, не так, как чувствуется. А хочется мне сказать, в сущности, очень немного: только то, что мне очень грустно, очень жаль себя – и что я все-таки счастлива этой грустью и тем, что мне жаль себя. Мне грустно думать, что я где-то в чужой стране, на самых западных берегах Европы, на какой-то вилле за городом, среди осенней ночной темноты и тумана с моря, идущего вплоть до Америки. Грустно, что я одна не только в этой уютной и прелестной комнате, но и во всем мире. И всего грустней, что Вы, которого я выдумала и от которого уже чего-то жду, так бесконечно далеко от меня и так мне неведомы и, конечно, что бы я там ни говорила, так чужды мне и так правы в этом...

В сущности, все в мире прелестно, даже вот этот абажур на лампе, и ее золотистый свет, и сверкающее белье на моей уже открытой постели, и мой халат, моя нога в туфле, и моя худая рука в широком рукаве. И всего бесконечно жаль: к чему все? Все проходит, все пройдет, и все тщетно, как и мое вечное ожидание чего-то, заменяющее мне жизнь...

Очень прошу – напишите мне. Конечно, два-три слова, только для того, чтобы я знала, что Вы слышите меня. Простите мою настойчивость.

15 октября

Это наш город, наш собор. Пустынные скалистые берега, – моя первая *carte-postale*³ к Вам, – дальше, севернее. Но и город, собор – все угрюмо, черно у нас. Гранит, шифер, асфальт и дождь, дождь...

Да, напишите мне кратко, я очень хорошо понимаю, что Вам нечего сказать мне, кроме двух-трех слов, и, поверьте, ничуть не буду в обиде. Но напишите, напишите!

21 октября

³ Почтовая открытка (*фр.*).

Увы, письма от Вас нет. А прошло уже пятнадцать дней с тех пор, как я написала Вам в первый раз...

Но, может быть, Ваш издатель еще не переслал Вам моих писем? Может быть, Вас отвлекают срочные занятия, светская жизнь? Это очень грустно, но все же лучше, чем думать, что Вы просто пренебрегли моей просьбой. Думать так очень обидно и больно. Вы скажете, что я не имею никакого права на Ваше внимание и что, следовательно, ни обиде, ни боли не может быть места. Но точно ли не имею я этого права? А может быть, оно уже есть у меня, раз я испытала известные чувства к Вам? Разве был, например, хоть один Ромео, который не требовал взаимности даже и без всяких оснований, или Отелло, который ревновал бы по праву? Оба они говорят: раз я люблю, как можно не любить меня, как можно изменять мне? Это не простое хотение, чтобы меня любили, это гораздо сложнее и больше. Раз я что-нибудь или кого-нибудь люблю, это уже мое, во мне... Впрочем, не умею объяснить Вам этого как следует, знаю только, что так казалось и кажется людям всегда...

Впрочем, как бы там ни было, а ответа от Вас нет, а я опять пишу. Неожиданно выдумала, что Вы мне чем-то близки, – хотя опять-таки выдумала ли? – и сама поверила своей выдумке и упорно стала писать Вам и уже знаю, что чем больше буду писать Вам, тем все необходимее будет для меня делать это, потому что все более будет усиливаться какая-то связь между мною и Вами. Я Вас не представляю себе, совсем не вижу даже Вашего физического облика. Так кому же я пишу? Самой себе? Но все равно. Ведь и я – Вы.

22 октября

Нынче дивный день, на душе у меня легко, окна открыты, и солнце и теплый воздух напоминают о весне. Станный этот край! Летом дождливо и холодно, осенью, зимой – дождливо и тепло, но порой выпадают такие прекрасные дни, что не знаешь: зима это или итальянская весна? О, Италия, Италия и мои восемнадцать лет, мои надежды, моя радостная доверчивость, мои ожидания на пороге жизни, которая была вся впереди и вся в солнечном тумане, как горы, долины и цветущие сады вокруг Везувия! Простите, знаю, что все это слишком не ново, но что мне до того?

Ночью

Может быть, Вы оттого не писали мне, что я для Вас слишком отвлеченна? Тогда вот еще несколько черт моей жизни. Я уже шестнадцать лет замужем. Мой муж француз, я познакомилась с ним однажды зимой на Французской Ривьере, венчалась в Риме, а после свадебного путешествия по Италии навсегда поселилась здесь. У меня трое детей, мальчик и две девочки. Люблю ли я их? Да, но все же не так, как чаще всего любят матери, видящие жизнь только в семье, в детях. Пока дети были маленькими, я за ними непрестанно ухаживала, разделяла с ними все их игры и занятия, но теперь они во мне больше не нуждаются, и у меня много свободного времени, которое я провожу в чтении. Родные мои далеко, наши жизни разошлись, и общих интересов у нас так мало, что мы даже переписываемся очень редко. В связи с положением моего мужа мне часто приходится бывать в обществе, принимать и отдавать визиты, бывать на вечерах и обедах. Но друзей и подруг у меня нет. На здешних дам я не похожа, а в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю...

Но довольно обо мне. Если ответите, скажите хоть что-нибудь о себе. Какой Вы? Где постоянно живете? Любите ли Вы Шекспира или Шелли, Гете или Данте, Бальзака или Флобера? Любите ли музыку и какую? Женаты ли Вы? Связаны ли Вы уже наскучившей связью или у Вас есть невеста в той нежной и прекрасной поре, когда все ново и радостно, когда еще нет воспоминаний, которые только томят, обманывают, будто было счастье, непонятное и неиспользованное?

1 ноября

Письма от Вас нет. Какое мучение! Такое мучение, что я иногда проклиная день и час, когда решилась написать Вам...

И хуже всего то, что из этого нет выхода. Сколько бы я ни уверяла себя, что письма не будет, что мне нечего ждать, я все-таки жду: кто же может поручиться, что его действительно не будет? Ах, если бы твердо знать, что Вы не напишете! Я была бы и этим счастлива. Впрочем, нет, нет, надеяться все-таки лучше. Я надеюсь, я жду!

3 ноября

Письма нет, и мои мучения продолжаются... Впрочем, тяжелы только утренние часы, когда и с неестественным спокойствием и медлительностью, но с холодными от скрытого волнения руками одеваюсь, выхожу к кофе, прохожу музыкальный урок с дочерью, которая разучивает его так трогательно прилежно и сидит за пианино так прямо, так прелестно прямо, как умеют это только девочки по пятнадцатому году. В полдень приходит наконец почта, я бросаюсь к ней, ничего не нахожу – и почти успокаиваюсь до следующего утра...

А нынче опять прелестный день. Низкое солнце ясно и кротно. В саду много голых, черных деревьев, цветут осенние цветы. И что-то тонкое, голубое, необыкновенно прекрасное в долинах, за ветвями сада. И в сердце благодарность кому-то и за что-то. За что? Ведь ничего нет и не будет... хотя так ли это, точно ли ничего нет, раз она есть, эта умиляющая душу благодарность?

Благодарю и Вас за то, что Вы дали мне возможность выдумать Вас. Вы меня никогда не узнаете, никогда не встретите, но и в этом много печальной прелести. И, быть может, хорошо, что Вы не пишете, что Вы не написали мне ни слова и что я совсем не вижу Вас живым. Разве я могла бы говорить с Вами и чувствовать Вас так, как сейчас, если бы я Вас знала, даже если бы имела хоть одно письмо от Вас? Вы непременно были бы уже не такой, непременно чуть-чуть хуже, и мне было бы менее свободно писать Вам...

Свежеет, а я все не закрываю окна и все смотрю в голубую дымку низменностей и холмов за садом. И это голубое мучительно прекрасно, мучительно потому, что непременно нужно что-то сделать с ним. Что сделать? Я не знаю. Мы ничего не знаем!

5 ноября

Это похоже на дневник, но это все-таки не дневник, потому что теперь у меня есть читатель, хотя бы и предполагаемый...

Что побуждает писать Вас? Желание рассказать что-нибудь или высказать (хотя бы индифферентно) себя? Конечно, второе. Девять десятых писателей, даже самых славных, только рассказчики, то есть, в сущности, не имеют ничего общего с тем, что может достойно называться искусством. А что такое искусство? Молитва, музыка, песня человеческой души... Ах, если бы оставить после себя хоть несколько строк о том, что вот и я жила, любила, радовалась, что и у меня была молодость, весна, Италия... что есть далекая страна на берегах Атлантического океана, где я живу, люблю и все еще чего-то жду даже и теперь... что есть в этом океане дикие и бедные острова и дикая, бедная жизнь каких-то чуждых всему миру людей, ни происхождения, ни темного языка, ни цели существования которых не знает и никогда не узнает никто...

Я все-таки жду, жду письма. Теперь это уже как бы навязчивая идея, род душевной болезни.

7 ноября

Да, все дивно. Письма, конечно, нет, нет и нет. И представьте себе: потому что нет этого письма, нет ответа от человека, которого я никогда не видала и не увижу, нет отклика на мой

голос, брошенный куда-то вдаль, в свою мечту, у меня чувство страшного одиночества, страшной пустоты мира. Пустоты, пустоты!

И опять дождь, туман, будни. И это даже хорошо, то есть обычно, так, как надо. Это меня успокаивает.

До свидания, да простит Вам Бог Вашу жестокость. Да, все-таки это жестоко.

8 ноября

Три часа, а уже совсем сумерки от тумана и дождя.

А в пять у нас чай с гостями.

Приедут под дождем, в автомобилях, из мрачного города, который в дождь еще чернее со своим черным мокрым асфальтом, черными мокрыми крышами и черным гранитным собором, острие которого уносится в дождь и мглу...

Я уже одета и как бы жду выхода на сцену. Жду того момента, когда я буду говорить все то, что полагается, буду любезна, оживлена, заботлива и только немного бледна, что так легко объяснить этой ужасной погодой. И, одетая, я как будто помолодела, чувствую себя старшей сестрой своей дочери и каждую минуту готова заплакать. Я все-таки пережила что-то странное, похожее на любовь. К кому? В силу чего?

Прощайте, я уже ничего не жду, – говорю это совершенно искренне.

10 ноября

Прощайте, мой неведомый друг. Кончаю свои безответные письма тем же, чем и начала, – благодарностью. Благодарю Вас, что Вы не отозвались. Было бы хуже, если бы было иначе. Что бы Вы могли сказать мне? И на чем могли бы мы с Вами, без чувства неловкости, прервать переписку? И что бы я нашла сказать Вам еще, кроме сказанного? Больше у меня ничего нет, – я все сказала. В сущности, о всякой человеческой жизни можно написать только две-три строки. О, да. Только две-три строки.

Со странным чувством, точно я кого-то потеряла, – опять остаюсь одна, со своим домом, близостью туманного океана, осенними и зимними буднями. И опять возвращаюсь к дневнику, странную надобность которого, равно как и Ваших писаний, знает только Бог.

Несколько дней тому назад видела Вас во сне. Вы были какой-то странный, молчаливый, сидели в углу темной комнаты и были не видны. А все-таки я Вас видела. Я и во сне чувствовала: как можно видеть во сне того, кого никогда не видел в жизни? Ведь только Бог творит из ничего? И мне было очень жутко, и я проснулась в страхе, с тяжелым чувством.

Через пятнадцать, двадцать лет не будет, вероятно, ни меня, ни Вас в этом мире. До встречи в ином! Кто может быть уверен, что его нет? Ведь мы не понимаем даже своих собственных снов, созданий своего собственного воображения. Наше ли оно, это воображение, то есть, говоря точнее, то, что мы называем нашим воображением, нашими выдумками, нашими мечтами? Нашей ли воле подчиняемся мы, стремясь к той или иной душе, как я стремлюсь к Вашей? Прощайте. Или нет, все-таки до свидания.

Приморские Альпы. 1923

В некотором царстве

Бумажная лента медленно течет с аппарата возле мерзлого окна станционной комнаты – и буква за буквой читает Ивлев полные чудесного смысла слова:

– Иван Сергеевич женится на Святках на племяннице лошади высланы...

Телеграфист, через плечо которого он читает, странно кричит, что это служебная тайна, что это псковская повесть Пушкина, но Ивлев видит себя уже в дороге в глухой России, глубокой зимой.

Он видит, что вечереет, что к вечеру морозит, говорит себе, что такой снежной зимы никто не запомнит со времен Бориса Годунова. И Годунов дает этому зимнему русскому вечеру, снежным полям и лесам что-то дикое и сумрачное, угрожающее. Но в санях, среди прочих московских покупок к свадьбе и к празднику, лежат удивительные шведские лыжи, купленные племянницей в Москве. И это радует, обещает что-то такое, от чего замирает сердце. И тройка идет уверенно и шибко.

Сани ковровые, богатые. Кучер, в шапке под бобер, в свите, подпоясанной ремнем с серебряным набором, стоит в козлах. В задке же сидят две неподвижные и толстые от шуб и шалей женщины: крепкая старуха и ее черноглазая, румяная племянница. Обе, как и всё в санях, засыпаны снежной пылью. Обе пристально смотрят вперед, на спину кучера, на скачущие крупы пристяжных, на мелькающие в комьях снега подковы.

Вот выбрались на шоссе, пристяжные бегут легче, не натягивая постромок. И вдали уже видно жилье, деревня, стоят сосновые угрюмые леса, густые, обмороженные.

Неожиданно старуха говорит громким и твердым голосом:

– Ну, вот, слава богу, и дома. Не чаяла из вашей Москвы выбраться. А тут сразу двадцать лет с плеч долой, не нагляжусь, не нарадуюсь. Завтра же дам знать Ивану Сергеичу, не хочется больше тянуть с вашей свадьбой. Слышишь?

– Воля ваша, тетя, я на все согласна, – звонко отвечает племянница с притворным веселым простодушием.

А тройка шибко идет уже через деревню, над избами и сугробами которой темнеют сосны, посеревшие с морозу. А за деревней, совсем в лесу, видна усадьба: большой снежный двор, большой и низкий деревянный дом. Сумерки, глухо, огней еще не зажигали. И кучер, сдерживая лошадей, широким полукругом подкатывает к крыльцу.

С трудом, белые от снежной пыли, вылезают из саней, поднимаются на ступеньки, входят в просторную и теплую прихожую, уютно устланную попонами, почти совсем темную. Выбегает из задних горниц суетливая старушонка в шерстяных чулках, кланяется, радуется, помогает раздеваться. Раскутывают шали, освобождаются от пахучих снежных шуб. Племянница раздевается чем дальше, тем все живей и веселей, неожиданно оказывается тонкой, гибкой, ловко присаживается на старинный ларь возле окна и быстро снимает городские серые ботинки, показывая ногу до колена, до кружева панталон, и выжидательно глядя черными глазами на тетку, раздевающуюся сильными движениями, но медленно, с тяжелым дыханием.

И вдруг происходит то самое, страшное приближение чего уже давно предчувствовалось: тетка роняет поднятые руки, слабо и сладко вскрикивает – и опускается, опускается на пол. Старушонка подхватывает ее под мышки, но не осиливает тяжести и дико кричит:

– Барышня!

А в окно виден снежный двор, за ним, среди леса, блестящее снежное поле: из-за поля глядит, светит низкий лысый месяц. И нет уже ни старушонки, ни тетки, есть только эта картина в окне и темная прихожая, есть только радостный ужас этой темноты и отсутствия уже всяких преград между Ивлевым и той, что будто бы должна была быть невестой какого-то Ивана Сергеевича, – есть один дивный блеск черных глаз, вдруг вплотную приблизившихся к

нему, есть быстрая жуткая мысль, как снимала она на ларе ботик, и тотчас же вслед за этим то самое блаженство, от которого слабо и сладко вскрикнула тетка, опускаясь в предсмертной истоме на пол...

Весь следующий день Ивлев полон неотступным чувством влюбленности. Тайна того, что произошло в какой-то старинной деревенской усадьбе, стоит за всем, что он делает, думает, говорит, читает. И влюбленность эта во сто крат острее даже всего того, что он когда-либо испытывал в пору самой ранней молодости. И в глубине души он твердо знает, что никакой разум никогда не убедит его, будто нет и не было в мире этой черноглазой племянницы и будто так и не узнает она, каким мучительным и счастливым воспоминанием, – их общим воспоминанием, – одержим он весь день.

Приморские Альпы, 12 июля. 1923

Огонь пожирающий

Это была высокая красивая женщина с ясным и живым умом, с бодрым, деятельным характером, молодая, здоровая, всячески счастливая, всячески одаренная судьбой. Как памятливы мне ее блестящие ореховые волосы, ее открытый и приветливый взгляд, чистый звук голоса, благородство рук и ног, казавшихся особенно пленительными при ее крупном сложении, и даже ее любимая накидка из гранатового бархата, отороченная соболем! С каким удовольствием входил я всегда во двор ее старинного особняка в Сен-Жерменском предместье! И вот как-то за чаем, на который она приглашала нас каждую среду, среди оживленного и беспредметного разговора, кто-то почему-то вспомнил старика В., известного собирателя фарфора, старомодного богача и едкого причудника, умершего в прошлом году и завещавшего себя сжечь, пожелавшего, как он выразился, «быть тотчас же после смерти ввергнутым в печь огненную, в огонь пожирающий, без всякой, впрочем, претензии на роль Феникса». Народу в гостиной было довольно много, и почти все при этом воспоминании возмутились. Неприятный был человек, неприятное остроумие! Дамы зябко содрогнулись в своих мехах, мужчины с усмешкой покачали головами. Хозяин сказал:

– Да, это очень чисто и скоро, эта печь огненная, но все-таки не желал бы я попасть в нее. Уж очень жарко. Мне даже и участь Феникса не кажется завидной.

Все засмеялись, кто-то прибавил:

– Так же, как мне участь тех трех отроков, что в печи огненной пели хвалы Господу!

А еще кто-то подхватил:

– Тем более что вы уже далеко не в отроческом возрасте...

И вдруг хозяйка, возвысив голос, произнесла с неожиданной отчетливостью:

– А я как нельзя более понимаю В., хотя тоже не одобряю острот в его завещании, и пользуюсь случаем заявить при всех здесь присутствующих свою непреклонную посмертную волю, которая, как известно, священна и неоспорима: после моей смерти я тоже должна быть сожжена. Да, сожжена.

И настойчиво повторила, отстраняя попытки перевести разговор опять на шутки:

– Нет, я еще раз и совершенно серьезно говорю, отлично понимая всю неуместность подобных бесед в гостиной: я этого требую, это должно быть исполнено во что бы то ни стало, невзирая ни на какие могущие быть протесты со стороны моих родных и близких.

– Да что с тобой? – сказал хозяин. – Из всей твоей речи мне понравилось только твое замечание насчет странности такой гостинной беседы. Что с тобой?

– Только то, что я воспользовалась случаем, тем, что заговорили об этом, – ответила она. – Сколько уже раз собиралась я завещать это письменно и все как-то забываю, откладываю. А мало ли что может быть? Представь себе, что я нынче внезапно умру, что тут невероятного?

А ровно через неделю после того именно это и случилось – она умерла перед самым выездом в театр: уже шла по вестибюлю к выходу и вдруг со странной улыбкой схватилась за руку сопровождавшего ее лакея – и тот едва успел поддержать ее. Я узнал эту совершенно дикую по неожиданности новость от знакомого на улице и почему-то с необыкновенной поспешностью пошел домой, простясь с ним. Мне показалось, что тотчас же надо сделать что-то решительное, чем-то резко проявить себя. Но дома моей изобретательности хватило только на то, чтобы торопливо набить трубку, торопливо закурить, сесть в кресло... Была весна, конец марта. Париж празднично сиял, кипел жизнью. У нас в Пасси цвели и зеленели сады. По потолку надо мной топали, бегали дети, кто-то все начинал играть на пианино что-то шутовское, милое. В открытое окно входила весенняя свежесть и глядела верхушка старого черного дерева, широко раскинувшего узор своей мелкой изумрудно-яркой зелени, особенно прелестной в силу противоположности с черной сетью сучьев. Там, за окном, сыпали веселым треском воробьи,

поминутно заливалась сладкими трелями какая-то птичка, а наверху топали и играли, и все это сливалось с непрерывным смутным шумом города, с дальним гулом трамваев, с рожками автомобилей, со всем тем, чем так беззаботно при всей своей озабоченности жил весенний Париж... А на другой день, в третьем часу, автомобиль мчал меня через весь город уже на кладбище Пер-Лашез: волю покойной не решились нарушить, тело ее должны были сжечь.

Едучи, я думал все то же: какая изумительная случайность! Точно сам злой дух внезапно шепнул ей тогда, что минуты ее сочтены. И нужно же было кому-то ни с того ни с сего вспомнить этого старого циника! И как представить себе, как поверить в то, что через какой-нибудь час ее случайное и ужасное завещание все-таки осуществится и не останется ровно ничего даже от ее тела? И я не представлял, не верил, я смотрел по сторонам, и меня быстро уносило вперед навстречу весеннему ветру и солнцу. Но, смотря, все думал: да, вот весенний ветер, а ее уже нет! Вот солнечный блеск и Сена, а она этого уже не видит и не увидит никогда! Вот я с какой-то кошунственно-веселой быстротой мчусь по ее родному и любимому городу и втайне все-таки наслаждаюсь, а она из этого города да и вообще из всего нашего мира уже исчезла! Потом вдруг вспоминал, что там нельзя будет курить, и поспешно закуривал и опять думал свои путанные думы, странно согласованные с быстрым бегом автомобиля и мельканием праздничного, солнечного, людного Парижа.

И вот этот бег кончился. Предо мной были ворота и стены другого города, поднятого на возвышенность, как бы некая крепость, ярко и мертво глядящая из-за стен целыми полчищами мраморных и железных крестов, мавзолеев, часовен, статуй, ангелов, гениев. Я вышел из машины и вошел в эти роковые ворота. Подъехали мы не с той стороны, с какой было нужно, и мне пришлось пересечь все кладбище из конца в конец, пройти многочисленные проспекты и аллеи, целые бульвары и улицы. Тут мысли мои опять спасительно отвлеклись на некоторое время от ужасной цели моей поездки.

Я шел и смотрел: какая музейная чистота в этом городе, какой порядок! И что за день, что за красота! Сколько ослепительной белизны, во всяческих видах сверкающей в небесной сини, среди еще сквозной черноты деревьев, осыпанной изумрудными мушками! Сколько пышных живых цветов на куртинах, у подножия крестов и бюстов, на мраморных и гранитных плитах и у входа склепов! И каким-то особым родом людей кажутся здесь все встречные, все эти мужчины и женщины, то стоящие у могил с поникшими головами, то просто мирно гуляющие. Все сдержанны, все как-то по-иному, чем в будничной жизни, скромны и просты, как-то иначе раскланиваются с знакомыми... Это город великой печали и великого отчаяния, – подумать только, какие миллионы уже легли здесь и еще лягут! Но удивительно, – какая-то благостная, душу умиротворяющая радость все-таки витает здесь надо всем. Радость чего? Весны, неба, первой зелени, мрамора? Вечной молодости мира, вечно воскресающей жизни? Или же и впрямь той жизни небесной, в которую сердце невольно и наивно верит или жаждет верить здесь?

И вдруг я поднял глаза: на широкой площади, внезапно открывшейся передо мной, высилось нечто вроде храма или, вернее, капища с круглым куполом, две высоких заводских трубы, – именно заводских, голых, кирпичных, – поднимались в небо по сторонам этого купола – и из одной черными клубами валил дым. Уже! Я опоздал, ее уже жгли! Это из той адской подземной печи, куда, верно, уже вдвинули гроб с ее телом, валил этот страшный, молчаливый дым, такой особенный, такой не похожий ни на один дым в мире!

Странно, меня, кажется, больше всего поразила именно грубая молчаливость, спокойная беспощадность, с которой валил дым. И такое же глубокое молчание царило и внутри этого капища. Как окаменелые, сидели мы в его большой полукруглой зале на длинных деревянных скамьях. Народу было мало – у одних не хватило духу присутствовать при таком необычном и жутком обряде, другие были возмущены покойной, может быть, и нечаянно, невольно, но все же дерзко поправшей устава того общества, к которому она принадлежала по своему древнему

и благочестивому роду. На передней скамье сидели муж и несколько самых близких родных – мужчины все в черном и с креповыми цилиндрами на коленях, женщины в глубоком трауре. Мы, просто знакомые, несмело поместились на скамье задней. И спины всех сидящих перед нами были согнуты, как бы подавлены той невыразимой тишиной, в которой длилось наше ожидание ужасных итогов этой ужаснейшей в мире церемонии. Церемония совершалась где-то там, за траурным занавесом, который висел в глубине залы, закрывая нечто вроде театральной сцены. И зачем-то между его сдвинутыми черными полотнищами торчало бутафорское подобие золоченого гроба. А на мраморных колоннах по сторонам этих полотнищ пучили глаза изваянные совы. Кроме траурного занавеса, гроба и сов, ничто иное не обозначало зловещего назначения этой пустой залы с окнами чуть не во всю стену. Помню, – окна справа были сверху донизу залиты солнечным светом. И мертвая тишина, в которой мы сидели и ждали, казалась от этого света еще более гнетущей.

Сколько времени мы сидели? По крайней мере, час, которому, казалось, конца не будет. И что это такое было то, где сидели мы? Храм, театр? Нечто вроде присутственного места или какого-то верховного судилища, где совершается что-то самое последнее и самое жестокое над человеком? Какая-то особенно важная научная лаборатория или какой-то адский притон? Мы не знали, что это такое, мы покорно сидели, затаив дыхание, не решаясь шевельнуться. Бога здесь не было, и существование и символы его здесь отрицались. Совы пучили слепые глаза только с бессмысленным удивлением, траур занавеса говорил только о смерти. А я сидел и мысленно видел этот густой черный дым, медленно валивший из трубы в небо над нами, и в небе мне все-таки грезился Некто безмерный, широко простерший длани и молчаливо приемлющий и обоняющий жертву, приносимую ему. И так прошло двадцать, тридцать, сорок минут... Зачем-то заглядывал во входную дверь какой-то сутулый старик в траурной ливрее, очень серьезно осматривал нас и опять осторожно притворял дверь... Потом дверь снова распахнулась, и быстро, но тихо вошел щеголеватый молодой человек в траурном галстуке бантиком, быстро, но на цыпочках прошел через залу, легонько вбежал по ступенькам к занавесу и, раздвинув его черные полотнища, скрылся за ними... И опять мы сидели и, не шевелясь, ждали, ждали... Где ее жгли? Там, где-то за занавесом, где-то в глубоком подземелье, где слепила и поыхала с невообразимой силой и яростью истинно геенна огненная. Эта геенна, этот огонь пожирающий должен действовать с быстротой всесокрушающей. Но почему же все это длится так нестерпимо долго? И вдруг за занавесом послышались громкие, как бы наконец все разрешающие шаги, занавес раздвинулся – и молодой человек, появившийся на сцене, молча сделал нам широкий пригласительный жест.

Зачем я пошел! А я все-таки пошел. Мгновенно все во мне крепко подтянулось, и я быстро и мужественно встал, прошел между скамьями, поднялся на сцену и, следуя за другими, повернул в дверь налево, в какую-то большую комнату с голыми стенами и без окон, освещенную откуда-то электричеством. В глубине ее был какой-то железный куб с дверцами, теперь широко открытыми. Из внутренности этого куба, – он был бездонный, – тянулись в комнату две рельсы. И по этим рельсам два сторожа в траурных мундирах, два приземистых человека из той отпетой породы, что определяют себя на мрачное и низкое существование при моргах и анатомических театрах, тащили железными крюками как бы крышку стола, прямоугольник из асбеста, насквозь розовый, насквозь светящийся, раскаленный до прозрачности. И те прозрачно-розовые, инде горящие ярко-синим огоньком известковые буфы и возвышенности, что были на этом прямоугольнике, это и были скудные останки нашего друга, всего ее божественного тела, еще позавчера жившего всей полнотой и силой жизни. Больше ничего! Чувствуя на лицах и руках палящий зной от этой адской сковороды, мы стояли и тупо глядели. Асбест рдел, змеился лазурными огоньками... Потом стал медленно бледнеть, блекнуть, приобретать светло-песочный цвет... И тогда я среди его неровностей различил то, что осталось от головы, от наиболее крупных костей, от таза... и еще раз весь содрогнулся от грубости и жестокости

всего этого дела и, главное, от кощунственного бесстыдства, с которым мне показали что-то такое, чего никому в мире не должно видеть...

А затем все было кончено в пять минут, быстро соскребли железными лопаточками эти неровности, кое-что похватали щипцами, побросали все собранное в мраморный ящичек, замазали его крышку цементом и, положив на небольшие носилки и прикрыв траурным покрывалом, быстро понесли вон. Мы, с опущенными и обнаженными головами, последовали за носилками, видели, как быстро вдвинули ящичек в нишу в той высокой стене, которая с трех сторон окружает крематорий, как затем эту нишу замуровали, запечатали... Несчастный муж смотрел на всю эту работу с необыкновенной пристальностью. Потом, резко побледнев и приняв театрально-торжественный вид, отступил в сторону для приема того последнего рукопожатия, которое он, по французскому обычаю, должен был принять поочередно ото всех своих друзей. И, быстро и молча исполнив этот обычай, мы тотчас же почти разбежались в разные стороны, разлетелись по разным направлениям в вечеряющий, залитый уже зеленовато-золотистым солнцем океан Парижа...

Мой шофер, человек грузный и короткорукый, был пьян, его лицо было густо налито лиловой кровью. И теперь он мчался уже совсем бешено, и его автомобиль поминутно ревел на бегу с какой-то свирепой наглостью и угрозой.

Приморские Альпы, 1 октября. 1923

Несрочная весна

...А еще, друг мой, произошло в моей жизни целое событие: в июне я ездил в деревню в провинцию (к одному из моих знакомых). Я, конечно, еще помню, что когда-то подобные поездки никак не могли считаться событиями. Полагаю, что не считаются они таковыми у вас в Европе и по сию пору. Да мало ли что было у нас когда-то и что в Европе еще есть! Двести, триста верст у нас теперь не шутка. Расстояния в России, опять превратившейся в Московщину, опять стали огромными. Да и не часто путешествуют нынешние московские людишки. Конечно, теперь у нас всяческих вольностей хоть отбавляй. Но не забудь, что все эти вольности, до которых мы и дожить не чаяли, начались еще слишком недавно.

Словом, случилось нечто необычное, много лет мною не испытанное: в один прекрасный день я взял извозчика и отправился на вокзал. Ты как-то мне тайком писал, что теперешняя Москва представляется тебе даже внешне «нестерпимой». Да, она очень противна. И еду на вокзал на извозчике, вроде тех, что бывали прежде только в самых глухих захолустьях и брали за конец не миллиард, а двугривенный, я, возбужденный необычностью своего положения, ролью путешественника, чувствовал это особенно живо. Какое азиатское многолюдство! Сколько торговли с лотков, на всяческих толкучках и «пупках», выражаясь тем подлым языком, который все более входит у нас в моду! Сколько погибших домов! Как ухабисты мостовые и разрослись уцелевшие деревья! На площадях перед вокзалами тоже «пупки», вечная купля и продажа, сброд самой низкой черни, барышников, воров, уличных девок, продавцов всяческой съестной дряни. На вокзалах опять есть и буфеты, и залы разных классов, но все это еще до сих пор сараи, загаженные совершенно безнадежно. И народу всегда – не протолпишься: поезда редки, получить билет из-за беспорядка и всяческих волокит дело очень трудное, а попасть в вагон, тоже, конечно, захолустный, с рыжими от ржавчины колесами, настоящий подвиг. Многие забираются на вокзал накануне отъезда, с вечера.

Я приехал за два часа до поезда и чуть было не заплатил за свою смелость, чуть было не остался без билета. Однако кое-как (то есть, конечно, за взятку) дело устроилось, я и билет получил, и в вагон попал, и даже уселся на лавке, а не на полу. И вот поезд тронулся, и осталась Москва позади, и пошли давным-давно не виденные мною поля, леса, деревни, где начались опять глубочайшие будни после того разгульного праздничка, которым потешила себя Русь за такую баснословную цену. И вскоре стали заводить глаза, заваливать головы назад и храпеть с открытым ртом почти все, набившиеся в вагон. Напротив меня сидел русский мужик, большой, самоуверенный. Сперва он курил и все плевал на пол, со скрипом растирая носком сапога. Потом достал из кармана поддевки бутылку с молоком и стал пить затяжными глотками, отрываясь только затем, чтобы не задохнуться. А допив, тоже откинулся назад, привалился к стене и тоже захрапел, и меня буквально стало сводить с ума зловоние, поплывшее от него. И, не выдержав, я бросил место и ушел стоять в сени. А в сенях оказался знакомый, которого я не видел уже года четыре: стоит, качается от качки вагона бывший профессор, бывший богатый человек. Едва узнал его: совсем старик и что-то вроде странника по святым местам. Обувь, пальтишко, шляпа – нечто ужасное, даже хуже всего того, в чем я хожу. Не брит сто лет, серые волосы лежат по плечам, в руке дерюжный мешок, на полу у ног другой. «Возвращаюсь, говорит, домой, в деревню, там мне дали надел при моем бывшем имении, и я, знаете, живу теперь так же, как тот опростившийся москвич, к которому вы едете, кормлюсь трудами рук своих, свободное время посвящаю, однако, прежнему – своему большому историческому труду, который, думаю, может создать эпоху в науке...» Солнце серебряным диском неслось уже низко за стволами, за лесом. И через полчаса создатель эпохи сошел на своем глухом полустанке – и заковылял, заковылял со своими мешками по зеленой березовой просеке, по холодку вечерней зари.

А я приехал, куда мне было нужно, уже совсем в сумерки, в одиннадцатом часу. И так как поезд опоздал, то мужик, выезжавший за мной, подождал, подождал, да и отправился восвояси. Что было делать? Ночевать на станции? Но станцию на ночь запирают, да если бы и не запирали, диванов, скамеек на ней нет, – «теперь, брат, господ нету!» – а ночевать на полу даже и «советским» подданным не всегда приятно. Нанять в поселке возле станции какого-нибудь другого мужика? Но это теперь стало делом почти невозможным. У дверей вокзала сидел мужик, пришедший к ночному поезду на Москву, печальный и безучастный. Поговорил с ним. Он только рукой махнул. «Кто теперь поедет! Лошадь редкость, вся снасть сбита... Стан колес – два миллиарда, выговорить страшно...» Я спросил: «А если пешком?» – «А вам далеко?» – «Туда-то». – «Ну, это верст двадцать, не более. Дойдете». – «Да ведь, говорю, по лесу да еще пешком?» – «Что ж, что по лесу! Дойдете». Но тут же рассказал, как весной два каких-то «человечья» наняли так-то «мужичья» в ихнем селе, да и пропали вместе с ним: «Ни их, ни его, ни лошади, ни снасти... Так и неизвестно, кто кого растерзал – они его или он их... Нет, теперь не прежнее время!»

Разумеется, после такого рассказа у меня пропала уже всякая охота пытаться ехать ночью. Решил дожидаться утра и просить ночлега в трактирах возле станции, – «их тут целых два», сказал мужик. Но оказалось невозможным ночевать и в трактирах, – не пустили. «Вот чайку, если угодно, пожалуйста, – сказали в одном. – Чай мы подаваем...» Долго пил чай, то есть какую-то тошнотворную распаренную травку, в еле освещенной горнице. Потом говорю: «Позвольте хоть на крыльце досидеть до утра». – «Да на крыльце вам будет неудобно...» – «Все удобнее, чем на дороге!» – «А вы безоружный?» – «Обыщите, сделайте милость!» – И вывернул все карманы, расстегнулся. «Ну, как хотите, на крыльце, пожалуй, можно, а то и правда в избу вас никуда не пустят, да уж и спят все...» И я вышел и сел на крыльце, и скоро огонь в трактире погас, – в соседнем его давно не было, – и наступила ночь, сон, тишина... Ах, как долга была эта ночь! На небе вдали, за чернеющим лесом, закатывался замазанный лунный серп. Потом и он скрылся, стала на том месте поблескивать зарница. Я сидел, шагал перед крыльцом по смутно белеющей дороге, опять сидел, курил на пустой желудок махорку... Во втором часу по дороге послышался перелив колесных спиц, толканье ступок на осях – и немного погодя к соседнему трактиру кто-то подъехал, остановился, стал стучать в окно каким-то воровским, условным стуком. Из сеней сперва выглянул, потом осторожно вышел хозяин, босой лохматый старик, тот самый, что вечером отказал мне в ночлеге с удивительной злобной грубостью, – и началось что-то таинственное: бесконечное тасканье из сеней чего-то вроде овчин и укладыванье их в телегу приезжего, и все это при блеске зарниц, которые все ярче озаряли лес, избы, дорогу. Дул уже свежий ветер и вдали угрожающе постукивал гром. А я сидел и любовался. Помнишь ночные грозы в Васильевском? Помнишь, как боялся их весь наш дом? Представь, я теперь лишился этого страха. И в ту ночь на крыльце трактира я только восхищался этой сухой, ничем не разрешившейся грозой. Под конец я, однако, ужасно устал от своего бдения. Да и духом пал: как идти двадцать верст после бессонной ночи?

Но на рассвете, когда тучки за лесом стали бледнеть, редеть и все вокруг стало принимать дневной, будничный вид, мне неожиданно посчастливилось. Мимо трактира пронеслась на станцию коляска – привезла к поезду в Москву комиссара, управляющего бывшим имением князей Д., находящимся как раз в тех местах, где и нужно мне было быть. Это мне сказала проснувшаяся и выглянувшая из окна хозяйка трактира, и, когда кучер выехал со станции обратно, я кинулся к нему навстречу, и он даже с какой-то странной поспешностью согласился подвезти меня. Человек оказался очаровательный – детски наивный гигант, всю дорогу повторял: «Глаза бы не глядели! Слезы!» Меж тем всходило солнце, и седловатый, широкозатый, шальной и оглохший от старости белый жеребец быстро и легко мчал по лесным дорогам коляску, тоже старую, но чудесную, покойную, как люлька... Давно, друг мой, не катался я в колясках!

Знакомый, у которого я прогостил несколько дней в этих лесах, человек в некоторых отношениях очень любопытный, – самоучка, полуобразованный, всегда жил раньше в Москве, но в прошлом году бросил ее и вернулся на родину, в свое наследственное крестьянское поместье. Он страстно ненавидит новую Москву и не раз настаивал, чтобы я приехал к нему отдохнуть от этой Москвы, расписывал красоты своих мест. И точно, места удивительные. Представь себе: зажиточный поселок, мирный, благообразный, вообще такой, как будто никогда не было не только всего того, что было, но даже отмены крепостного права, нашествия французов; а кругом – заповедные леса, глушь и тишина неописуемая. Преобладает бор, мрачный, гулкий. И по вечерам в его глубине мне чувствовалась не то что старина, древность, а прямо вечность. Зари – только клочья: только кое-где краснеет из-за вершин медленно угасающий закат. Бальзамическое тепло нагретой за день хвои мешается с острой свежестью болотистых низин, узкой и глубокой реки, потаенные извивы которой вечером холодно дымятся. Птиц не слышно – мертвое безмолвие, только играют козодои: один и тот же бесконечный звук, подобный звуку веретена. А как совсем стемнеет и выступят над бором звезды, всюду начинают орать хрипылыми, блаженно-мучительными голосами филины, и в голосах этих есть что-то недосозданное, довременное, где любовный зов, жуткое предвкушение соития звучит и хохотом и рыданием, ужасом какой-то бездны, гибели. И вот, по вечерам я бродил в бору под ворожбу козодоев, по ночам слушал, сидя на крылечке, филинов, а дни посвящал зачарованному миру бывшей княжеской усадьбы, – истинно бывшей, потому что из ее владельцев не осталось в живых ни единого... Она несказанно прекрасна.

Дни стояли солнечные, жаркие. И по пути в усадьбу я шел то в тени, то по солнцу, по песчаной дороге, среди душно и сладко благоухающей хвои, потом вдоль реки, по прибрежным зарослям, выпугивая зимородков и глядя то на открытые затоны, сплошь покрытые белыми кувшинками и усеянные стрекозами, то на тенистые стремнины, где вода прозрачна, как слеза, хотя и казалась черной, и мелькали серебром мелкие рыбки, пучили глаза какие-то зеленые тупые морды... А затем я переходил старинный каменный мост и подымался к усадьбе.

Она осталась, по счастливой случайности, нетронутой, неразграбленной, и в ней есть все, что обыкновенно бывало в подобных усадьбах. Есть церковь, построенная знаменитым итальянцем, есть несколько чудесных прудов; есть озеро, называемое Лебединым, а на озере остров с павильоном, где не однажды бывали пиры в честь Екатерины, посещавшей усадьбу; дальше же стоят мрачные ущелья елей и сосен, таких огромных, что шапка ломится при взгляде на их верхушки, отягощенные гнездами коршунов и каких-то больших черных птиц с траурным веером на головках. Дом, или, вернее, дворец, строен тем же итальянцем, который строил церковь. И вот я входил в огромные каменные ворота, на которых лежат два презрительно-дремотных льва и уже густо растет что-то дикое, настоящая трава забвения, и чаще всего направлялся прямо во дворец, в вестибюле которого весь день сидел в старинном атласном кресле, с короткой винтовкой на коленях, однорукий китаец, так как дворец есть, видите ли, теперь музей, «народное достояние», и должен быть под стражей. Ни единая не китайская душа, конечно, ни за что бы не выдержала этого идиотского сидения в совершенно пустом доме, – в нем, в этом сидении, было даже что-то жуткое. Но однорукий, коротконогий болван с желто-деревянными ликом сидел спокойно, курил махорку, равнодушно ныл порою что-то бабье, жалостное и равнодушно смотрел, как я проходил мимо.

– Вы его, барин, не бойтесь, – сказал мне про него кучер таким тоном, каким говорят о собаках, – я ему скажу про вас, он вас не тронет.

И точно, китаец меня не трогал. Если бы ему приказали заколоть меня, он, разумеется, заколол бы, не моргнув бровью. Но так как колоть меня было не надо, то он только сонно косился на меня, и я мог свободно проводить целые часы в покоях дворца как дома. И я без конца бродил по ним, без конца смотрел, думал свои думы... Потолки блистали золоченой вязью, золочеными гербами, латинскими изречениями. (Если бы ты знал, как мой взгляд отвык

не только от прекрасных вещей, но даже просто от чистоты!) В лаковых полах отсвечивала драгоценная мебель. В одном покое высилась кровать из какого-то темного дерева, под балдахин из красного атласа, и стоял венецианский сундук, открывавшийся с таинственной сладкогласной музыкой. В другом – весь простенок занимали часы с колоколами, в третьем – средневековый орган. И всюду глядели на меня бюсты, статуи и портреты, портреты... Боже, какой красоты на них женщины! Какие красавцы в мундирах, в камзолах, в париках, в бриллиантах, с яркими лазоревыми глазами! И ярче и величавее всех Екатерина. С какой благостной веселостью красуется, царит она в этом роскошном кругу! А в одном кабинете лежит на небольшом письменном столе и странно поражает взгляд коричневое бревно с золотой пластинкой, на которой выгравировано, что это – частица флагманского корабля «Св. Евстафий», погибшего в битве при Честме «во славу и честь Державы Российская...» Да, во славу и честь Державы Российская... Странно это теперь звучит, не правда ли?

Часто бывал я и в нижних залах. Ты знаешь мою страсть к книгам, а там, в этих сводчатых залах, книгохранилище. Там прохладно и вечная тень, окна с железными толстыми решетками, а сквозь решетки видна радостная зелень кустов, радостный солнечный день, все такой же, такой же, как и сто, двести лет тому назад. Там устроены в стенах ниши с полками, и на этих полках мерцают тусклым золотом десятки тысяч корешков, чуть ли не все главнейшее достояние русской и европейской мысли за два последние века. В одной зале огромный телескоп, в другой гигантский планетарий, а на стенах снова портреты, редчайшие гравюры. Развернул я как-то один из прелестнейших томиков начала прошлого столетия, прочитал на шершавой бумаге строки:

Успокой мятежный дух
И в страстях не сгорай,
Не тревожь меня, пастух,
Во свирель не играй, —

и долго стоял очарованный: какой ритм и какая прелесть, грация, танцующий перелив чувств! Теперь, когда от славы и чести Державы Российской остались только «пупки», пишут иначе: «Солнце, как лужа кобыльей мочи...» А в другой раз мне попало под руку первое издание Баратынского, и я, словно нарочно, развернул книжку на стихах:

Что ж, пусть минувшее исчезло сном летучим,
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей...

А перед отъездом был я в знаменитой церкви. Она в лесу, на обрыве, круглая, палевого цвета и сияет в синем небе золотой маковкой. Внутри ее круг желтоватых мраморных колонн, поддерживающих легкий купол, полный солнца. В круглом проходе между колоннами и стенами – изображения святых со стилизованными ликами тех, кто похоронен в фамильном склепе под церковью. А в узкие окна видно, как ветер ворожит косматые главы сосен, величаво и дико раскинутые из обрыва в уровень с окнами, и слышно пение, гул ветра. Я спустился в непроглядную темноту склепа, озаряя красным огоньком воскового огарка громадные мраморные гробы, громадные железные светильники и шершавое золото мозаик по сводам. Холодом преисподней веяло от этих гробов. Неужели и впрямь они здесь, те красавицы с лазоревыми очами, что царствуют в покоях дворца? Нет, мысль моя не мирилась с этим... А потом я опять поднялся в церковь и долго глядел в узкие окна на буйное и дремотное волнение сосен. Как-то весело и горестно радовался солнцем забытый, навсегда опустевший храм! Мертвая тишина

царила в нем. За стенами же пел, гудел летний ветер, – все тот же, тот же, что и двести, сто лет тому назад. И я был один, совершенно один не только в этом светлом и мертвом храме, но как будто и во всем мире. Кто же мог быть со мною, с одним из уцелевших истинно чудом среди целого сонма погибших, среди такого великого и быстрого крушения Державы Российской, равного которому не знает человеческая история!

И это было мое последнее посещение усадьбы. На другой день я уехал...

А теперь, как видишь, я опять в Москве. И прошло уже больше месяца, как я вернулся, но сильное и, главное, какое-то невыразимо странное впечатление, привезенное мною в Москву, не оставляет меня. И я думаю, что и не оставит. Ведь то, что так живо и остро почувствовал и понял я во время этой поездки, зрело во мне уже давным-давно. И не предвидится, да и не может быть впереди ничего, что могло бы рассеять мое теперешнее состояние: они, эти люди так называемой новой жизни, правы – к прежнему, к прошлому возврата нет, и новое царит уже крепко, входит уже в колею, в будни. Состояние же мое заключается в том, что я непрестанно чувствую, как тлеет, рвется самая последняя связь между мною и окружающим меня миром, как все больше и больше отрешаюсь я от него и ухожу в тот, с которым связан был я не только весь свой век, с детства, с младенчества, с рождения, но даже и до рождения: ухожу в «Элизей минувшего», как бы в некий сон, блистающий подобием той яркой и разительно живой жизни, в которой застыли мертвецы с лазурными глазами в пустом дворце в подмосковных лесах.

Видишь ли, случилось, разумеется, чудо: некто, уже тлевший в смрадной могильной яме, не погиб, однако, до конца, подобно тысяче прочих, сваленных с ним в эту яму. Он, к великому своему изумлению, стал постепенно приходить в себя и, наконец, совсем пришел и даже получил возможность приподняться и опять выбраться на белый свет. Теперь он опять среди живых, опять приобретает знакомую привычку быть, как все, – будто как все, – опять видит город, небо, солнце, опять заботится о пище, об одежде, о крове и даже о житейском занятии, положении. Но, друг мой, проходит ли даром человеку смерть, хотя бы и временная? А главное, как переменялся, как сказочно переменялся даже самый белый свет за то время, которое мы, чудом уцелевшие, пребывали в могиле! Такого крушения, такой перемены лица земли за какие-нибудь пять лет, в истории, повторяю, не бывало. Представь себе почти мгновенную гибель всего античного мира – и несколько человек, погребенных под развалинами, под лавинами варварских орд, и затем внезапно очнувшихся через два, три столетия: что должны они чувствовать? Боже, какое, прежде всего, одиночество, какое несказанное одиночество!

И вот уже давно стало расти во мне некое наваждение. Чем больше привыкал я к тому, что мое восстание из мертвых есть явь, сущая правда, тем более овладевало мною чувство страшной перемены, происшедшей на свете, – я, конечно, не о внешнем говорю, хотя и во внешнем мы дошли до неслыханной и уже вовеки непоправимой мерзости, – и начал я оглядываться кругом все пристальнее, вспоминать свою домогильную жизнь все явственнее... И росло, росло наваждение: нет, прежний мир, к которому был причастен я некогда, не есть для меня мир мертвых, он для меня воскресает все более, становится единственной и все более радостной, уже никому не доступной обителью моей души!

Да, уезжая из Москвы, проезжая по ней, я почувствовал то, что чувствовал уже давно, с особенной остротой: до чего я человек иного времени и века, до чего я чужд всем ее «пупкам» и всей той новой твари, которая летает по ней в автомобилях! Затем вспомни вокзал, с которого я уезжал, вагон, в котором я добыл себе место, моего соседа, пившего молоко из бутылки... Вспомни профессора с его мешками, с его научными мечтаниями и ту просеку, по которой одиноко – о, как страшно одиноко! – заковылял он... Как поразили меня те минуты, когда поезд стоял на полустанке, где он слез, – эти первые впечатления полевой тишины, лесной глуши, запаха берез, цветов, вечерней свежести! Боже мой, боже мой, опять, – после тысячи лет самой страшной в мире каторги! – опять это святое, чистое безмолвие, закатывающееся

за лесом солнце, даль, пролет в просеке, горькие и свежие ароматы, сладкий холодок зари... И чувство моей отчужденности от этого «советского» вагона, на площадке которого я стоял, и от русого мужика, который спал в нем, вдруг приобрело во мне такую глубину и силу, что на глаза мои навернулись слезы счастья. Да, я чудом уцелел, не погиб, как тысячи прочих, убиенных, замученных, пропавших без вести, застрелившихся, повесившихся, я опять живу и даже вот путешествую. Но что может быть у меня общего с этой новой жизнью, опустошившей для меня всю вселенную! Я живу, — и порою, как вот сейчас, даже в какой-то восторженной радости, — но с кем и где?

И та ночь, что провел я на крыльце трактира, тоже была для меня только моим прошлым. Разве я воспринимал ее как ночь в июне тысяча девятьсот двадцать третьего года? Нет, эта ночь была одной из моих прежних ночей. Прежние были и зарницы, и гром, и свежий ветер, с которым приближалась гроза... Они и совсем увели меня в мир мертвых, уже навсегда и блаженно утвердившихся в своей неземной обители. И теперь неотступно стоит передо мною это солнечное царство летних дней, бора и сказочно-спящего дворца, затерявшегося в бору, этих ворот со львами и бурьяном наверху, мрачных еловых ущелий, обмелевших прудов со стайками трясогузок на травянистых берегах, озера, заросшего осокой, навсегда опустевшей церкви и пустых, блистательных зал, полных образами покойников... Не могу тебе передать изумительного чувства, все еще не покидающего меня: до чего они ужасающе живы для меня!

Помнишь ли ты те стихи Баратынского, из которых я привел тебе несколько строк и которые так совпали с тем самым важным для всей моей теперешней жизни, что таится в самом сокровенном тайнике моей души? Помнишь, как кончается эта элегия, посвященная предчувствию того Элизея, который прозревал Баратынский под тяжестью своих утрат и горестей? Среди запустения родных мест, среди развалин и могил, я чувствую, говорит он, незримое присутствие некоего Призрака; и он, «сия Летийская тень, сей Призра́к» —

Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где, в сладостной тени невянущих дубов,
У нескудеющих ручьев,
Я тень священную мне встречу...

Запустение, окружающее нас, неописуемо, развалинам и могилам нет конца и счета: что осталось нам, кроме «Летийских теней» и той «несрочной весны», к которой так «убедительно» призывают они нас?

Приморские Альпы, 5 октября. 1923

Город Царя Царей

Вот старая, старая карта земного шара. Опять гляжу на нее, – в который раз в жизни и все еще жадно – опять блуждаю глазами по великой пустоте Индийского океана, вижу черту экватора, останавливаюсь на том заветном месте немного выше его, где удлинненной каплей падает от треугольника Индостана, как бы от острия древесного листа, Цейлон, священный Львиный остров, и опять вспоминаю: город Царя Царей, Анарадхапура...

Что такое Анарадхапура? Кто знает или хотя бы слышал о ней? А меж тем Анарадхапура, величайшая святость буддийского мира, древнейшая столица Цейлона, Анарадхапура, ныне заросшая джунглями, превратившаяся в одно из самых глухих цейлонских селений и поражающая пилигрима только чудовищными останками былой славы, насчитывает более двух с половиной тысяч лет своего существования, из которых целых две тысячи она процветала на диво всему древнему Востоку, по размерам почти равняясь современному нам Парижу, золотом и мрамором зданий не уступая Риму, а своими дагобами, воздвигнутыми для хранения священных буддийских реликвий, превосходя пирамиды Египта.

Создатель одарил Цейлон всем, что только есть на земле ценного и прекрасного. Создатель сделал его раем, местом сотворения человека, и отдал Адаму в полное владение лишь с одним запретом: не стремиться ни мечтой, ни зрением за пределы рая. Но, искушаемый жадой далекого и неведомого, жадой «знать и иметь», с восторгом и корыстью созерцал Адам в час утренний, с высочайшей горы рая, царства и моря, в солнечно-голубых туманах лежавшие окрест, – и преступил запрет, ушел с Евой в Индию, мостом нагромоздив ряд скал в проливе между Индией и райским островом. Авель, не пожелавший противиться Божьему запрету, остался в раю. Каин последовал за родителями. Но всюду и непрестанно томила его тоска по оставленному раю, и вот, постранствовав в мире, возвратился он в рай и убил Авеля, дабы владеть раем «нераздельно и вечно».

То, что известно нам о Цейлоне, по существу сходно с этим цейлонским сказанием. Соединенный с Индией так называемым Мостом Адама, цепью рифов и скал, действительно был некогда Цейлон частью нашей прародины. И необыкновенно многообразно его географическое строение и неисчислимы природные сокровища. Горный хребет Цейлона, занимающий три четверти его поверхности и за много миль маячащий мореходу своим острым Адамовым Пиком, изобилует глубокими долинами и многоводными реками, тонет в первобытных лесах. Возвышенны, лесисты и восточные его берега, а полную противоположность им составляют берега западные, низменные, отягченные буйной растительностью влажных тропических мест, равно как и болотистые джунгли севера. Океан вокруг Цейлона цветет жемчугом, кораллами и населен, как в первые дни творения. В горных цейлонских недрах таятся великие залежи хрусталя и графита, в речных ложах – сказочные богатства драгоценных камней. Растительный же мир Цейлона, равного которому, в смысле обилия пород, нет на земле, мир, от века и непрестанно цветущий и благоухающий, служит приютом для несметных видов птиц, пресмыкающихся и для несметного множества всяких обезьян, летучих лисиц, кабанов, пантер, слонов, оленей...

История Цейлона темна. Все же на основании летописей, начатых в буддийских монастырях Анарадхапуры более двух тысяч лет тому назад, и по древним книгам Китая, Бирмы, Сиам с достоверностью установлено, что и история человеческой жизни на Цейлоне весьма точно намечена в иносказаниях цейлонских мифов об Адаме и его несчастных чадах. Да, первым обладателем Цейлона был действительно человек первозданный, пращур того (крохотного теперь) племени, которое вымирает в горных лесах юго-восточного цейлонского побережья под именем лучников: современным знанием лучники признаны за древнейшую в миру расу, за потомков праобитателей земли. Я видел эти леса. Они доисторически глухи, имеют

много общего с девственными лесами Австралии, дебри их серых стволов и узловатых сучьев покрыты кожистой темной листвой, опутаны непролазными тенетами лиан; англичане прорубают в этих дебрях многомильные просеки, пролагают шоссейные дороги, но пока только одни удавы переходят их своими волнистыми трубами. И вот эта-то от века заповедная глушь и дает убежище лучнику, прямому наследнику того, кто был цейлонским Авелем.

Я смотрю на карту; вот заповедная точка земного шара, где живет древнейший из нас. Помню ослепительный и в то же время прохладный (по причине высоты) полдень. Я на гребне Цейлона, на Пидуруталагалле, и весь Цейлон подо мною. В необозримые дали расходится туманно-синеватая картина его горного хаоса, сплошь покрытого лесом, и великий простор океана объемлет горизонты вокруг, и вся душа моя охвачена опьянением какой-то восторженной гордости, вечно присущей высотам. Но обманчивы все человеческие гордыни! И великой грустью земной тщеты сменяется моя гордыня при виде тех горных лесов, что лежат подо мною: там тоже бьется человеческое сердце, а как жалок и страшен этот человек, это существо, потаеннее всякого зверя скрывающееся от меня, своего единоутробного брата, в этих древесных притонах! Он и теперь еще не знает ни огня и никаких орудий, кроме лука да каменного топора. Он питается кореньями и плодами, лакомится ящерицами, дохлыми обезьянами. Религии у него нет, — он только смутно почитает (то есть боится) духа предков, и даже смерть его не освящается никаким обрядом. Нет у него и никаких основ права, нравственности и нет даже семьи, — разве его детеныши и его самка (чаще всего его родная сестра) составляют семью? А телом он черен, ростом карл, хотя сложен прекрасно и ловок необыкновенно, череп имеет самый маленький в мире, волосы буйные, уши торчащие и подвижные... Замечательней всего то, что цейлонский Авель никогда не смеется: этого человеческого дара он лишен совершенно.

А Каином был на Цейлоне пришелец из Индии. Индией, согласно буддийским летописям, владели сурии, арийцы. Они были будто бы очень мирны, эти «дети Солнца», но вот родился среди них вождь, великий царь, родился чудесно («от женщины и льва») и уже с юности приобрел славное имя: Жестокий Виджая. Под его водительством сурии вторглись по Мосту Адама в царство Авеля, овладели раем и назвали его (в честь своего вождя) Львиным островом (Сингала), а своих побежденных противников, тех самых, что известны теперь под именем лучников, частью истребили, частью обратили в рабство, частью загнали в горы, в леса. И тогда наступила уже не райская, а чисто земная слава острова: целых две тысячи лет процветало новое арийское царство, царство Сингальское. Весь мир дивился его могуществу, его трудам, всяческому строительству, обработке земель, осушению болот, созданию городов, дворцов и храмин, циклопических плотин, ограждающих поля от разливов, великих каналов, распределяющих водные орошения и величайших в мире священных пирамид. И целых две тысячи лет не было во всей Азии города, равного сингальской столице, воздвигнутой среди расчищенных джунглей на севере острова и возвеличенной пышным именем: город Царя Царей — Анарадхапура...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.